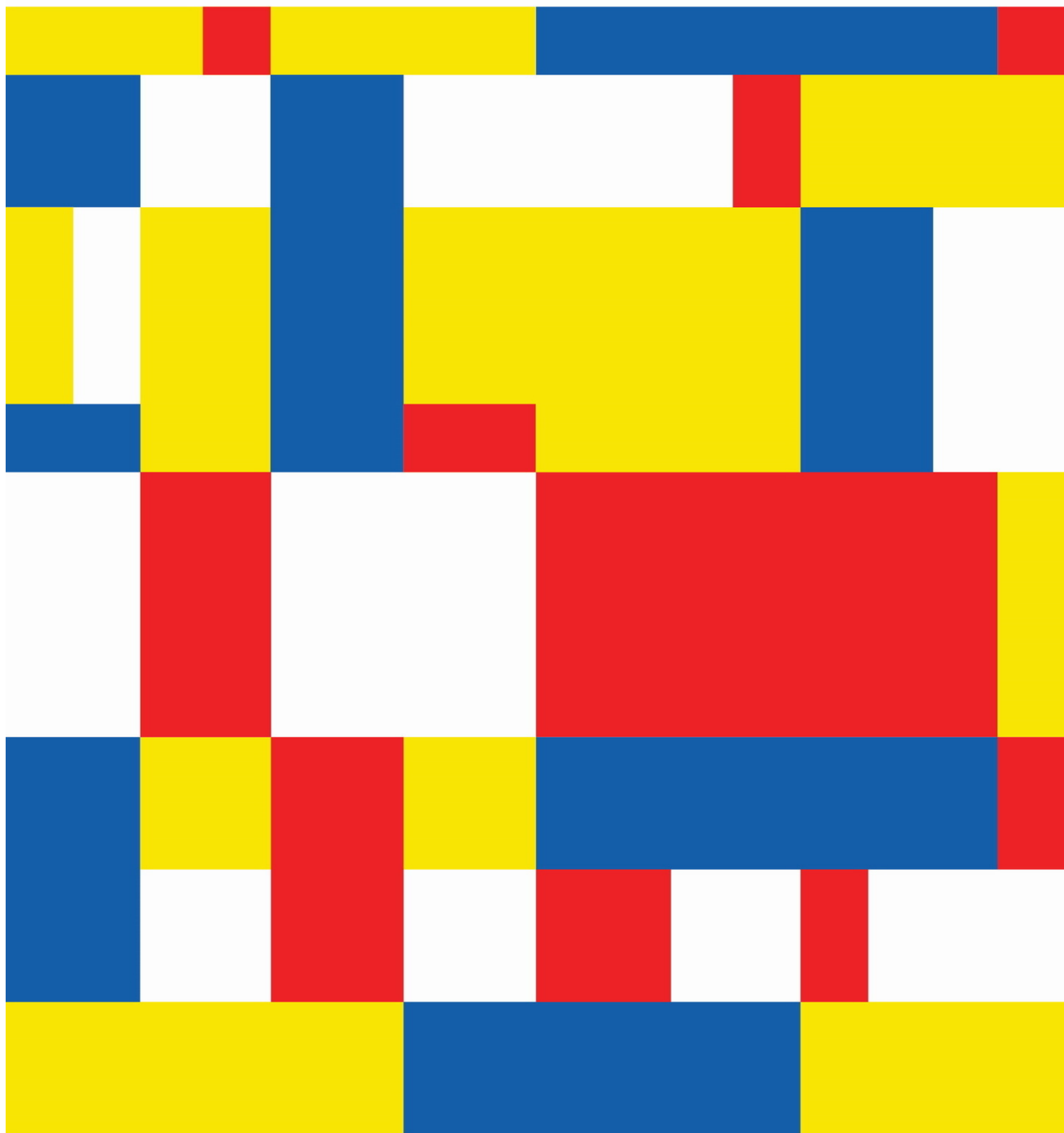


ГРИГОРИЙ РЕВЗИН КАК УСТРОЕН ГОРОД



STRELKA PRESS

Григорий Ревзин
Как устроен город

«Strelka Press»

2019

УДК 711.4.01
ББК 85.118

Ревзин Г.

Как устроен город / Г. Ревзин — «Strelka Press», 2019

ISBN 978-5-907163-15-7

Город полезно уметь видеть и понимать, без этого от него трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живут в городе власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны? Ответы на эти вопросы – в новой книге Григория Ревзина.

УДК 711.4.01

ББК 85.118

ISBN 978-5-907163-15-7

© Ревзин Г., 2019
© Strelka Press, 2019

Содержание

От автора	5
Вступление	7
Город и его смысл	7
Знак четырех	11
1. Власть	15
Проспект	15
Квартал	18
Регулярная планировка	22
Общественное здание	25
Архитектура	28
Власть	31
2. Жрецы	35
Храм земной	35
Храм небесный	39
Памятник архитектуры	42
Гений	45
Театр	49
Центр и периферия	53
Набережная	56
Спорт	59
Жрецы	62
3. Рабочие	66
Рабочие кварталы	66
Фабрика	69
Микрорайон	73
Школа	77
Гаражи	80
Парк	82
Транспорт	85
Рабочие	88
4. Торговцы	96
Деньги	96
Площадь	99
Праздник	102
Универмаг	105
Улица	108
Среда	111
Бульвар	114
Торговцы	117
Заключение	121
Конкуренция	121
Жители	125
Переулок	128

Григорий Ревзин

Как устроен город. 36 эссе по философии урбанистики

От автора

В 2017 году директор института «Стрелка» Варвара Мельникова предложила мне написать серию очерков о современном городе для непрофессиональных медиа. Чтобы включить урбанистику в число предметов, относящихся к сфере *general interest* – как политика, деньги или погода. В ответ я предложил серию очерков о городе вообще. К моей большой радости, она, поколебавшись, согласилась. Я искренне благодарю ее как за инициативу, так и за толерантное принятие того обстоятельства, что наше слово всегда отзывается не так, как мы предугадывали.

Елена Нусинова, главный редактор журнала *Weekend* и главный редактор почти всех моих текстов на протяжении последних 20 лет, счастливо для меня согласилась публиковать эти очерки в журнале. Андрей Курилкин, главный редактор издательства *Strelka Press*, увидев первый очерк, сказал: «Отлично, а потом, когда вы закончите, я соберу очерки и издам книжку». Эта счастливая перспектива в принципе маячила передо мной, пока я публиковал свои эссе, но отдаленно и необязательно. Мне была предоставлена полная свобода в выборе и тем, и последовательности очерков. Каждый, кто когда-либо попадал в такую ситуацию, поймет мою благодарность за атмосферу свободного комфорта, в которой я пребывал целый год.

За нее я и расплатился по итогам работы. В один прекрасный день Елена Нусинова позвала меня к себе, предъявила мои опусы, собранные вместе, и сказала примерно следующее. Вот ваши очерки. Для журнала каждый из них был неплох, я их редактировала и печатала. Но вместе это не книжка. Вернее, это очень плохая книжка. Много повторов, нет структуры, читатель не понимает, куда вы его ведете и зачем. Можете отдать это Курилкину, но я бы не советовала вам так поступать. А ему это издавать.

Я хочу поблагодарить Елену Нусинову как за благожелательную мягкость, с которой она относилась к моим текстам, пока я их писал, так и за жесткость, неожиданно обозначенную в итоге. Сдерживая слезы, я забрал свои статьи, начал их перечитывать и с мазохистским удовольствием обнаружил, что она совершенно права. Ничего не получилось. После этого я переписал весь текст – примерно на три четверти, уже как книжку.

Я вновь передал текст Елене Нусиновой, которая на этот раз нашла его более приемлемым. Но хорошо узнав за 20 лет совместной работы мою способность запальчиво преувеличивать собственную эрудицию, безобразно путать имена, места, даты и авторство цитат, категорически посоветовала мне обратиться к научному редактору. Я ответил не без надменности, что уже попросил прочитать свой текст члена-корреспондента РАН, профессора Владимира Седова, и он уже прочел (пользуюсь случаем выразить ему благодарность за это) и даже исправил две ошибки. На что Елена Нусинова ответила, что он – ваш самый старый и верный друг, слишком хорошо к вам относится (пользуюсь случаем выразить ему благодарность и за это тоже) и это нас ни от чего не гарантирует.

Так в работе над этой книжкой появилась Мария Сарабьянова. Я глубоко восхищен серьезностью и ответственностью, с которыми она работала с моим текстом. Меня отчасти согревает то обстоятельство, что давным-давно аналогичную работу проделывал ее дед, Дмитрий Владимирович Сарабьянов, бывший научным руководителем моего диплома и диссертации. Невольно вспоминается античный миф о семье, которой богами помимо прочего было назначено ухаживать за рощей, вечно норовившей произвести бракованные плоды.

В исправленном виде текст, наконец, и был передан Андрею Курилкину, который отнесся к нему благосклонно, за что ему отдельная благодарность. Он, правда, выразил осторожное удивление противоречивостью текста. Получилась монография с жесткой структурой, будто учебник, но каждая ее часть – этакое импрессионистического свойства эссе с поэтическими цитатами.

Пытаясь разрешить это противоречие, я предложил Андрею сменить название книги «Как устроен город» на менее менеджерское – «Поэтика города». Ведь поэтика – это и есть описание того, как устроено произведение, а некоторый привкус поэтичности в названии позволил бы увести ожидания читателя от градостроительного *manual'a*. Но не прошло. Андрей нашел такое название устаревшим, отталкивающим молодежь, а кроме того, разрушающим все договоренности. Поскольку проект с самого начала – еще с идеи Варвары Мельниковой – назывался «Как устроен город» и в нем менялось многое, но не имя.

Ну что же, отмеченное Андреем противоречие действительно есть. Но прочитав множество текстов о том, как устроен или как должен быть устроен город, авторы которых, возможно бессознательно, вдохновлялись воинским уставом или уголовным уложением (и даже написав несколько таких же), я, пожалуй, результатом скорее удовлетворен. Если в гражданском кодексе сохраняются некоторые черты, роднящие его с чтением на *weekend*, то, возможно, это способно несколько подкупить читателя *of general interest*.

Вступление

Город и его смысл

Животные городов не строят, город – произведение человеческое. То есть он должен быть разумен. При этом он скорее таким не выглядит. Не только для обычного человека, натякающегося на интриги улиц, но и, как мне кажется, для людей, занимающихся городами профессионально. В городе масса случайного, непредсказуемого, не имеющего разумных оснований. То есть город – это порождение разума, которое неразумно.

Таких вещей много. Человеческая история, политика, экономика в силу видимой абсурдности рожают бесконечные попытки их объяснить. Город тоже создает логики его объяснения.

Был такой американский урбанист Кевин Линч, любимый герой Вячеслава Глазычева, переведившего его книги. Одна из них, «Совершенная форма в градостроительстве», начинается с типологии городов: город как символ, город как механизм и город как органическая форма.

Город как символ – это город-круг, квадрат, звезда, парабола, прямая линия и т. д. Толкование таких символов – увлекательнейшее занятие, и история градостроительства от Вавилона до Версаля полна таких толкований. Круг может толковаться как соляренный символ, женский символ, символ мировой гармонии и т. д., и это важно, но важнее то, что толкование в принципе возможно. То есть что у города есть смысл, и этот смысл кем-то задан. Символ же не может возникнуть сам собой, кто-то должен был сказать, что это символ. Город как символ предполагает автора – им может быть или правитель, или архитектор, и у нас будет случай вернуться к сходству этих фигур.

Город как механизм – это девайс с примерно четырьмя функциями. Это жилье плюс средства поддержания и воспроизводства жителей плюс производство плюс управление. С точки зрения проблемы разумности городской материи это прекрасная логика – город оказывается глубоко рациональным. Логически это похоже на город как символ, потому что девайс тоже сам собой ниоткуда не возьмется. У него тоже есть автор, только он другой. Эта модель города возникает довольно поздно, это порождение индустриализации (впервые ее, насколько я понимаю, описал Тони Гарнье в книжке «Индустриальный город», изданной в 1917 году). Можно сказать, что на место автора-художника или мага, который соотносил город с законами мироздания путем символических действий, здесь становится более прогрессивный и практичный автор-инженер, который уже знает эти законы и в соответствии с ними строит город как завод по производству лучшей жизни. Впрочем, вскоре наступило время тоталитарных обществ, маги вернулись и опять начали строить символические города.

И символических, и функциональных городов существует довольно много (в особенности функциональных). Однако сказать, что проблема разумности города решается через обращение к символической или функциональной логике, не получается. Точнее, не вполне получается.

У «авторской» логики объяснения городов есть недостаток. Авторский замысел не столько объясняет город, сколько враждует с ним. Вернее сказать, город воюет с авторским замыслом, а автор более или менее безуспешно обороняется. Когда мы говорим о некоем замысле города – Риме Ромула или Петербурге Петра, Приене Гипподама или Зеленограде Игоря Покровского, – то этот замысел в реальности всегда, увы, оказывается искаженным, непонятым и утраченным. Когда же мы говорим о видимом, актуальном произведении архитектора или власти в городе – сталинской Москве, османовском Париже, Риме Сикста V, Москве Собянина, – то это результат насилия над существующим городом, его радикальная

трансформация. Получается, что есть отдельно замысел, а отдельно город. В таком случае «город» – это какая-то неразумная, необъяснимая материя, с которой борется ее смысл. Это не смысл города, а попытка привнести смысл в город.

Но в случае с символами в силу их неясности и расплывчатости конфликт между городской материей и смыслом города не критичен. С функцией все хуже. Функциональная теория города делает его инструментом для изготовления чего-то. У инструментов, в отличие от произведений художников, есть одна особенность. Когда они устаревают, их выбрасывают. Можно, конечно, хранить лопату XVI века в музее этнографии или техники, но никому не придет в голову хранить все старые лопаты. Инструменты можно выбросить, но город выбросить трудно. И если приходится выбрасывать город, то возникает сомнение, что мы правильно вложили в него смысл.

Многие едут полюбоваться Флоренцией, мало кому приходит в голову ехать полюбоваться шахтами функционального Ленинска-Кузнецкого.

А если мы с меркой механизма подходим к городам, в которых все хорошо и куда хочется поехать, то оказывается, что это очень плохие механизмы. В них много лишнего, не объяснимого функциональной логикой. Как будто механизм зарос какими-то мхами и лишайниками, переулками и закоулками, лавками и киосками. У большого градостроителя иногда возникает желание как-то это все побрить и почистить. Однако именно эта ткань нефункциональности обеспечивает городу его «невывбрасываемость» – то есть бессмысленная часть ткани города обеспечивает его жизнь. Это оскорбительно для разума.

Отчасти в полемике с функциональной теорией города родилась идея третьей формы города – органической. Так что, хотя у нее есть некоторая предыстория в паркостроении, она тоже начинается с 1910-х годов. Смысл здесь в допущении, что город – это не механизм, а организм. Он зарождается, развивается, стареет и, вероятно, умирает, подобно живому существу, хотя вопрос о смерти города более или менее открыт. В отличие от городов, созданных на основе идеи функциональности, органические города – например, Тель-Авив, генплан которого придумал основатель органической теории города Патрик Геддес, – чувствуют себя более или менее неплохо, хотя тут нужно учитывать, что их построено значительно меньше. Тем не менее это прекрасная идея, и Линч считает, что именно органические города – лучшая форма для жизни людей.

Недостатки этой логики – продолжение ее достоинств. Город-организм – это метафора, и нужно понимать не только то, чего мы достигаем, перенося на город биологические образы, но и что теряем. Теряем мы, разумеется, все тот же Разум. Если город и организм, то ведь довольно-таки простой. Патрик Геддес, кстати биолог по образованию, мыслил его на уровне между классами колониальных и многоклеточных – у него, если посмотреть тот же план Тель-Авива, клетки города почти не дифференцированы, хотя есть некие русла городского метаболизма. Два российских градостроителя – Илья Лежава и Алексей Гутнов – существенно развили эту логику, выявив куда более сложную морфологию. Они разделили город на каркас, ткань и плазму на основе различий в скорости обновлений этих трех типов. Каркасы меняются веками, ткань – десятилетиями, плазма – годами. С точки зрения практической урбанистики это замечательное достижение.

Вернусь ко второй принципиальной книге Линча, к «Образу города». Там главный инструмент – ментальные карты. Линч предлагал людям по памяти рисовать городское пространство, в котором они живут, потом сопоставлял разные рисунки и таким образом выяснял интересубъективный образ пространства у городских сообществ. Так родился второй ряд понятий о ключевых феноменах города – граница, путь, ориентир, узел и район.

Это до известной степени ответ на вопрос, как в органическом городе присутствует человек разумный. Граница здесь может быть не стеной, путь – не улицей, а узел – не площадью. Это ментальные образы, хотя не обязательно высказанные и осознанные. Это не вполне созна-

ние, а скорее поведение: человек, двигаясь по привычному маршруту, очень мало думает о структуре пути, действуя скорее по инерции. Но в любом случае это не органика простого многоклеточного организма.

Вячеслав Глазычев в книге «Лицо города», написанной в соавторстве с Алексеем Гутновым, а точнее дописанной после его смерти, соединил два эти ряда понятий (Линча, напомним, он переводил). «Совмещение разных попыток понять „весь“ город позволило, во всяком случае, увидеть, что у него есть „каркас“, устойчивый, мало изменяющийся за века, и есть „ткань“, куда более подвижная, переменчивая. Каркас способен к развитию за счет своей устойчивости, тогда как городская ткань не столько развивается, сколько переживает бесчисленные метаморфозы: перестраиваются дома, преобразуется структура внутриквартального пространства, магазины и клубы, фабрики и парки сменяют друг друга... Мы стали различать: „путь“, прокладываемый каждым в отдельности и всеми вместе через толщу города; „ориентир“, позволяющий всякий момент уяснить, какую точку в системе координат города мы ощущаем под ногами. Мы увидели „район“, границы которого отнюдь не обязательно совпадают с юридическими границами района или микрорайона, но он явно имеет какой-то собственный центр. Мы заново осмыслили понятие „границы“, по ту и другую сторону которой городская среда видоизменяется ощутимым образом. И еще раз мы... осознали, что есть в городе „узлы“ – сгустки человеческой активности, у которых есть собственная энергия развития».

Так соединять эти феномены, наверное, можно, но вообще-то это два разных понятийных ряда. Понятия первого ряда – это строение города как организма. Понятия второго ряда – это представления (или паттерны поведения) людей о городе, в котором они существуют. И они не очень связаны. Узлы бывают в плазме, ткани или только в каркасе? Путь совпадает с каркасом? Район – это ткань, каркас или вообще город в городе, раз у него есть граница и даже свой центр?

Перефразируя поэта, скажем, что на подвижной лестнице Ламарка город занимает если не последнюю, то предпоследнюю ступень. Даже с учетом открытий Гутнова – Лежавы и синтеза Глазычева город как организм все равно оказывается не сложнее, скажем, медузы. Честно сказать, и до медуз далеко. Этот организм может жить, но не может думать – мозга тут нет. А люди, которые как раз думать могут, как-то существуют внутри этого организма, передвигаются, скапливаются в узлах, натываются на границы – на правах то ли микрофлоры, то ли питательных веществ.

Нельзя сказать, что такая органика вызывает ощущение гармонии с природой. Понятие «урбанист» теперь означает деятельность по обустройству городов, но изначально оно имело несколько иное значение. «Из всех российских футуристов еле-еле нашелся один урбанист. Я, конечно, говорю о Маяковском», – пишет Корней Чуковский. Образ города-спрута, поедающего своих жителей, не то чтобы так уж редок. Он, если согласиться с Чуковским, возникает в самом начале российского урбанизма. Прочитую то стихотворение Маяковского, которое, видимо, имел в виду Чуковский:

Адище города
Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.
А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда

и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

Варианта два: или городу человеком насильственно навязан смысл, или город – некий организм, который бессознательно поедает проживающих в нем горожан. Да ведь в сущности, это одно и то же представление: просто в одном случае перед нами дрессированная, взнузданная смыслом медуза, а в другом – медуза свободная, растущая как ей угодно. Хотелось бы все же объяснить город как человеческое пространство.

Знак четырех

Классическая проблема истории градостроительства – кто создает город?

Прочитую Вячеслава Глазычева: «Существует устойчивое представление об историческом происхождении города от разрастающегося села. Это заблуждение. Даже в тех случаях, когда город возникал на месте удачно расположенной деревни или усадьбы, как это было с Москвой, это издревле был хорошо планируемый процесс, осуществлявшийся властью».

То есть основателем города является власть. Для России это взгляд само собой разумеющийся: большинство российских городов возникали как административные центры. Однако примерно ту же идею можно найти у историков римской античной архитектуры, больших французских историков, скажем, у Жака Ле Гоффа, относительно Средних веков и, разумеется, историков архитектуры европейского абсолютизма.

Но вместе с тем.

Макс Вебер в своей книге «Город» доказывает, что город не создается властью, а, напротив, противостоит ей. Город – это инструмент обмена. Город образуется из рынка, рынок является его центральным элементом. Той же идеи придерживалась и Джейн Джекобс, страстный проповедник рыночной, а не административной природы города. Благодаря ей этот взгляд стал более или менее общепринятым не для историков городов, но для теоретиков. И если говорить о важнейших западных городах, как Венеция или Нью-Йорк, или о множестве средних и мелких исторических городов Германии, Бельгии, Голландии – собственно всех ганзейских, – то они возникают не усилиями королей и императоров, но из рынков торговли на дальние расстояния.

Но вместе с тем.

Льюис Мамфорд, историк, философ, один из основателей урбанистики, предлагал иную точку зрения. Он считал, что основная функция города – хранение и передача культурной информации, это инструмент воспитания цивилизацией, а функции архива и обучения – это функции святилища. Основа города – святилище. Храмовые центры как ядро города мы встречаем прежде всего в городах ближневосточных цивилизаций – сегодня идея возникновения города из храма для этих городов является более или менее общепризнанной. Однако и в Средние века центром города может являться монастырь или собор. Кстати, удивительно, что Вебер, прославившийся открытием связи между типом хозяйства и религией, в своей книге о городе не упоминает собора. Это трудно объяснить иначе как религиозной тенденциозностью: не заметить собора в средневековом городе трудно. Но у него с духом капитализма была связана протестантская этика, религиозные институты католиков не были ему так интересны. Сегодня множество городов существуют как города-музеи, а музей – дериват храма, да и возникают они часто именно из городов-святилищ.

Но вместе с тем.

Нельзя забывать, что есть классическая марксистская точка зрения на происхождение городов. С точки зрения Маркса, разделение труда и возникновение класса рабочих (ремесленников) и торговцев, не связанных с сельскохозяйственным производством, есть необходимое условие возникновения города в любую эпоху. Эту точку зрения развивал автор термина «урбанистическая революция» (возникновение городов) Гордон Чайлд: он подробно проследивает процесс возникновения отдельной группы ремесленников в неолитической деревне, потом отделение ремесленного и земледельческого труда от торговли и, соответственно, возникновение города в конце неолита. При некоторой архаичности этой системы взглядов вовсе сбросить ее со счетов трудно – все же без разделения труда города быть не может.

Так все же кто создает город? Власть? Рынок? Церковь? Фабрика?

У нас был историк, философ, социолог и футуролог Игорь Васильевич Бестужев-Лада. В 1970-е годы он для нового Генерального плана Москвы делал социологическую модель городского сообщества. Эта работа, к сожалению, осталась не очень востребованной – Генеральный план 1971 года был выстроен на функциональной модели города. Я позволю себе привести цитату из его интервью.

Тогда все трудоспособное население города очень четко делилось на четыре примерно равные группы. Первая – чиновники и их обслуга. Вторая – наука, культура, в целом интеллигенция. Третья – рабочие. Четвертая – сфера обслуживания. Огромную надежду партийные деятели возлагали как раз на вторую группу, интеллигенцию. Рассчитывали, что именно благодаря ей Москва (а затем и страна) сможет плавно войти в постиндустриальный мир. Но исследования нашего института показали, кроме того, что 80 % ученых были заняты в ВПК, еще 12 % – в идеологическом обслуживании власти (марксизм-ленинизм и прочая псевдофилософия) и только 8 % занимались реальной наукой. От 60 до 90 % ученых (в зависимости от отраслей) вообще были не способны участвовать в научном процессе. То есть это был балласт, который затем, кстати, и стал основой перестроечных процессов. И эта группа постоянно накачивалась детьми рабочих или выходцами из провинции (как и категория начальников). В результате в среде рабочих образовался страшный дефицит рабочих рук, и с начала 70-х годов было принято решение устроить так называемый лимит, который для Москвы составлял 80–100 тыс. человек в год. Таким образом, к началу 90-х в Москву прибыло около 2 млн лимитчиков. К чиновникам, милиции и прочей обслуге власти ежегодно прибавлялось 12–14 тыс., по своим интеллектуальным качествам они мало отличались от лимитчиков. Ни о каком вхождении Москвы в постиндустриальный мир уже не было и речи.

Его прогноз о том, что Москва не сможет стать постиндустриальным городом, не оправдался, она стала довольно-таки успешным постиндустриальным городом. Правда, основа ее «экономики знаний и услуг», что является определяющим для этого понятия, – административный ресурс, и это несколько путает теоретические карты. Но меня интересует сам принцип анализа. Это простая эмпирика. Бестужев-Лада не подходит к исследованию жителей Москвы с какой-то социологической моделью, он не использует ни одного принятого шаблона описания населения. Он не говорит, что в Москве было столько-то молодежи, пенсионеров, людей с высоким уровнем доходов, мужчин, детей. Он нестрого обрисовывает, кто чем занимался.

И у него появляются четыре группы населения. Люди власти, интеллигенция, то, что он назвал сферой обслуживания (это, в принципе, торговля), и, наконец, рабочие. Но это ровно те, кого разные исследователи считают основателями городов.

Не знаю, знал ли Игорь Васильевич текст, который я процитирую дальше. Подозреваю, что знал, но мне бы хотелось, чтобы перед нами было случайное совпадение.

Индуистские Веды являются древнейшим памятником человечества. Ригведа, в частности, датируется XVII–XI веками до н. э. Это сборник религиозных гимнов. Десятый раздел Ригvedы посвящен сотворению мира из тела Пуруши, он называется Пуруша-Сукта. Мир изначально представлял собой одно антропоморфное существо, гиганта Пурушу, который принес себя в жертву и был расчленен богами таким образом, что из него возникла вся живая и неживая материя. Люди были нарезаны из четырех разных частей Пуруши и образовали четыре группы. Соответствующий фрагмент гимна звучит следующим образом:

Когда разделили Пурушу, на сколько частей он был разделен?

Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?
Брахманом стали его уста, руки – кшатрием,
Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра.

Таким образом, четыре основные касты – это брахманы (жрецы, философы), кшатрии (воины, светские правители), вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие). Бестужев-Лада пересказал Веды.

Мы можем проследить эти четыре группы на всем протяжении существования городской цивилизации. В Москве XX века они вычлениются так же легко, как в Лондоне XVIII века в картинках Хогарта, Нидерландах XVI века в картинах Брейгеля, в римском скульптурном портрете – где угодно. Они столь привычны, что им даже трудно удивиться. Но на самом деле это более чем изумительно: оказывается, горожане делятся на четыре типа так же устойчиво, как, скажем, люди – на мужчин и женщин.

Если принять идеи великого французского мифолога Жоржа Дюмезиля, три касты из четырех определяют индоевропейскую цивилизацию. Пантеон индоевропейцев, по Дюмезилю, типологически одинаков в древнеиндийской, скандинавской и греко-римской мифологиях. Его ядро – это три божества: Верховный Судья, Верховный Воин и Бог Плодородия. За ними стоят три касты – жрецы, воины и земледельцы (вайшьи изначально – это и земледельцы, и торговцы). Более или менее понятно, почему нет ремесленников: индоевропейский пантеон – это догородская цивилизация. Кстати, мне кажется, из-за этого обстоятельства рабочие не имеют своего божественного покровителя, чем во многом определяется их поведение в городе.

Для современной урбанистики важна тема сообществ – их изучают, описывают, воспитывают, вовлекают и т. д. Это интригующий процесс, но здесь есть два вопроса. Один в том, делятся ли все горожане на сообщества без остатка или есть такие, которые не принадлежат ни одному сообществу. Покамест байкеры, любители кактусов, болельщики, велосипедисты и прочие охватывают не больше 3 % городского населения, а остальные ни к каким сообществам не приписываются. Второй – в том, чтобы определить, как ценности сообществ влияют на городскую среду. Еще с велосипедистами все более или менее понятно, но остальные вовсе не заявляют свои ценности в городских пространствах. Город сообществ выглядит скорее исследовательской утопией, чем реальностью, во всяком случае в странах, переживших индустриальную урбанизацию.

Мне кажется, продуктивнее считать, что в городе живут не сообщества по интересам и даже не территориальные сообщества (соседи попросту не знают друг друга), а профессиональные сообщества. У них есть общие ценности, общая повестка дня. Например, если умер какой-нибудь урбанист, то урбанисты узнают об этом раньше экономистов, а филологи могут и вовсе не узнать. И хотя профессиональных групп очень много, в основе они, на мой взгляд, могут быть сведены к четырем кастам, как у Бестужева-Лады. Филологи, урбанисты, философы и т. д. – это всё жрецы, а военные, чиновники и работники силовых министерств – это всё власть.

Быть может, какая именно группа из четырех основывает город – это неправильный вопрос? Возможно город появляется тогда, когда встречаются все четыре?

Смысл города – это не его замысел. Смысл города – это конкуренция. Город – это места обмена ценностями между четырьмя группами горожан. Улица, дом, площадь, парк, бульвар, квартал, памятник, школа и т. д. – это поле конкуренции, своего рода правила поведения в пространстве, где они встречаются. Говоря словами институциональной экономики – это институты, и город есть система институтов. Каждая из групп хочет переформатировать каждый из институтов по-своему и тем самым получить конкурентные преимущества. Группы вступают в альянсы или ведут борьбу. Торгующих изгоняют из храма (и от станций метро), жрецы то славят, то проклинаят власть, рабочие перестраивают мир, жрецы пытаются восстановить его

первоначальный облик – это все бесконечно интересно. Но мне кажется, чтобы понимать суть происходящего, нужно очертить каждую из групп ценностей. Что я и попытаюсь сделать.

1. Власть

Проспект

Трезубец на Пьяцца-дель-Пополо в Риме, где сходятся три проспекта, Корсо, Бабуино и Рипетта, задуман Сикстом V в 1580-е. Тогда же Андреа Палладио спроектировал первый европейский театр – театр Олимпико в Виченце. Сцена Олимпико – это схождение трех улиц в створ триумфальной арки и площадь перед ней. Можно сказать, что сцена Палладио – это Рим Сикста. Если учесть, что на Пьяцца-дель-Пополо еще в начале XIX века осуществляли публичные казни (что довольно эффектно описано в «Графе Монте-Кристо»), то можно представить себе, какой городской театр придумал папа Сикст.

Проспекты театральны. Этот театр в Европе так устроен, что, где бы ни находился зритель, город – на сцене, и на него смотрят извне. Так же как набережная или бульвар, проспект выбрасывает вас в позицию внешнего наблюдателя, быть может, не представляющего себе хитросплетения городского спектакля, но зато обладающего знанием о мире за его границами. Зритель, как бы туп он ни был, обладает горизонтом большим, чем у героя: он не умирает, когда опускается занавес, – напротив, тогда он начинает действовать.

Формальное искусствознание требует различать красоту осязательную и зрительную. Там много на этом выстроено: противопоставление Ренессанса и барокко, классицизма и эллинизма, итальянского и немецкого чувства формы. Проспект – это, конечно, красота зрительная, это изобретение барокко, само слово происходит от латинского *prospectus* – «вид». Но в этой зрительной красоте есть осязательный момент. Взгляд приобретает пластику холодного оружия, разрезающего толщу города, и если разрез точен, то это почти физическое удовольствие.

Проспект – это нечто, что возникает поверх. Город уже или есть физически, или мыслится как нечто менее существенное, что потом как-нибудь нарастет, главное – пробить проспекты. Если город прямоугольный, выстроенный в гипподамовой системе, проспекты идут по диагонали, никак не соотношенной с конкретным квадратом квартала. Если город «органический», то есть улицы следуют хитросплетениям рельефа и прав собственности, то проспект прямой.

Сикст V, который, собственно, и придумал проспекты, соединил проспектами главные христианские святыни Рима и в створе каждой улицы на площади перед церковью установил обелиск – как восклицательный знак: вот, сюда иди, здесь важное место. Объяснялось это заботой о паломниках, чтобы они не следовали лабиринтом средневековых улиц, а организованно маршировали от мошей к мощам, от чуда к чуду. Это нечто вроде «топ-10» римских святынь, только не в путеводителе, а непосредственно в пространстве, рефлексия Рима на предмет выделения самого главного.

Проспект – это осмысление города, резюме его пространственной структуры, выстраивание логики – набора аксиом и правил вывода – непосредственно в физической реальности. Аксиомы – главные места города, проспекты – правила вывода. Людовик XIV, второй после папы Сикста создатель трезубца проспектов, трех улиц, сходящихся в Версале (символической точкой схода была комната короля), недаром зовется королем-солнцем. XVII век – время популяризации гелиоцентрической системы, взглядов Галилея и Коперника. Для людей, далеких от астрономии: это такая история, что центр мирового порядка оказался вообще не на Земле и основание мирского порядка – не крепость, но система координат. Для утверждения такого необычного взгляда на вещи понадобилось больше ста лет, но когда он утвердился, надо было действовать. В Версале, помимо разнообразной солярной символики, эта сетка и проложена – сквозь поселения, леса, воду и землю. И точно так же произошло в Петербурге.

Твердью, основанием города оказывается не рельеф, не социальный порядок, не экономика, но система координат на абстрактной плоскости. Все остальное может меняться, здания – строиться и сноситься, люди – рождаться и умирать, но все будет происходить в этой сетке.

Проспект – не улица. Не слишком важно, есть ли на проспекте магазин, кафе, церковь. Их может вообще не быть – Невский проспект сначала обозначался только линиями деревьев, дома достроились потом. Проспект воздействует именно как перспектива – рамой входа, структурой порядка по краям и точкой схода, шпилем, обелиском или триумфальной аркой. Проспект – это городской телескоп, устройство для соизмерения города с пространством вообще. «Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающихся призраков. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же – ничего нет». Это – «Петербург» Андрея Белого, переживание точное и острое. «Ничего нет» – это пустота пространства как категории, *nihil* предъявленной абстракции Космоса.

Разумеется, такой проспект – это манифестация абсолютной власти. Само прорезание городской ткани прямыми есть прямое насилие, прежде всего над людьми. Отчуждение земельной собственности и разрушение зданий до того было обычной мерой в отношении тех, кого коммуна объявляла преступниками и изменниками, папский эдикт 1480 года приравнял к ним тех, чьи земли были нужны для общегородских нужд. Современники с ужасом описывали градостроительные преобразования Сикста V: «В душах многих людей, чьи виноградные поля и сады попали под линии улиц, поселился ужас и страх, ради прямых дорог головы летели с плеч». Но это власть не только над людьми. Сама земля была препятствием идеальной геометрии проспектов – как писал Доменико Фонтана, папа Сикст «протянул улицы от одного конца города к другому, не учитывая холмы и низменности, которые эти улицы пересекали, срезав здесь и повысив там, он сделал их ровными и потому самыми красивыми пространствами...» И так действовали все строители проспектов, вплоть до Муссолини, Гитлера и Сталина, проспекты в этом смысле – незаживающие раны, нанесенные властью.

Они не заживают в буквальном смысле. Рисунок Разума на земле работает так же, как рисунок естественного ландшафта. Чем власти больше, тем проспекты шире, и перейти с одной стороны проспекта на другую – это деяние. Жители левой стороны Ленинского проспекта – самые редко встречающиеся посетители Парка культуры среди москвичей. Жители Дорогомиловской полагают Сити дальним пригородом на горизонте. Проспекты работают в городе как урочища, овраги, каналы – они разделяют его на несообщающиеся части.

И потому люди, нацеленные на органическую, естественную жизнь в городе, проспектов избегают. В позднесоветское время среди интеллигенции была распространена своеобразная игра – пересечь город, ни разу не выходя на широкие улицы. Дворами, переулками, сквериками, через заборы – лишь бы нигде не попасть в координаты власти. Это немного напоминает атмосферу «1984» Оруэлла: мы движемся через слепые зоны в зрении Старшего брата. Сегодняшний урбанизм всячески пытается залечить проспекты – озеленить, обставить лавочками, фонарями, пересечь пешеходными переходами, все это напоминает тщательно обработанный косметикой шрам.

Проблема в том, что проспект – не просто насилие, но насилие прельстительное. В политологии принято различать две стратегии элиты – установление нужных ей правил исключительно для себя или в виде всеобщего законодательства. Проспекты власть прокладывает, конечно, для себя; как выразился король Фердинанд Неаполитанский, «узкие улицы – это опасность для государства». Бенито Муссолини, разрубивший римские форумы проспектом Империи (теперь *Via dei Fori Imperiali*), объяснял замысел так: «прямая улица не дает нам потеряться в меандре гамлетических сомнений»; проспект оказывался метафорой политического действия.

Но проспекты нельзя проложить так, чтобы ими могли пользоваться только король, гвардия и министры, а остальные их как бы не видели, – нет, они становятся частью всеобщих законов городского пространства.

Проспект – «иное» города, он извлекает вас из органики повседневности и заставляет воспринимать его в одиночестве и извне. Но отличие в том, что это не постороннее наблюдение – это вы режете его взглядом, выделяете самое главное, отправляя дорогие подробности жизни на периферию зрения. Проспект – это место, где вы со смущением обнаруживаете в себе родство с абсолютной властью. Конструкция математических координат, логика и иерархия ценностей, рисунок Разума – это то, что делает нас людьми. Проспект – это манифестация супер-эго города.

Квартал

Кварталы – это клетки городской ткани, материал, из которого строится городской организм. Я даже, вслед за Патриком Геддесом, сказал бы, что строение этой клетки определяет качества города. Некоторые города имеют строение простейших, а в некоторых клетки достигают известной морфологической сложности.

Для истории градостроительства обычный вопрос – является ли клетка прямоугольной и, соответственно, выстроен ли город в регулярной сетке или следует рельефу и выстроен из кварталов свободных форм. Геддес именно второй случай полагал «органическим городом». Честно говоря, я не думаю, что степень органичности среды зависит от регулярности сетки: города барокко, скажем, на Сицилии, или классицизма в Испании отличаются средой в высшей степени органичной, а города с тщательно выстроенной в 1960-е планировкой по ландшафту – например, Фирмини, спроектированный Ле Корбюзье, или наш Владивосток – бывают на редкость противоестественными. Регулярность сетки – это не вопрос органики ткани, это вопрос о власти.

Я не знаю ни одного города с одним прямоугольным кварталом – их всегда несколько, они всегда следствие деления целого на одинаковые части, и это деление должен осуществить кто-то извне. Но при всей значимости этого вопроса мне он представляется вторичным. Вообще, то, что мыслится прямоугольным, совсем не обязательно является таковым. Сергей Радонежский ясно высказался, что монастырь должен быть выстроен по образу Небесного Иерусалима, и поскольку в Откровении Иоанна Богослова прямо сказано, что Град Небесный «расположен четверугольником, и длина его такая же, как широта», то и Сергей велел строить монастыри «убо четверообразно». Все русские монастыри с тех пор изображают Небесный Иерусалим, и ни в одном не получилось построить прямоугольных стен. Это прямо какой-то рок: сказано «четверообразно», а на деле какой-то блин. Но все же вряд ли это вызвано органической неспособностью русского архитектурного гения произвести правильный квадрат. Видимо, гуляющие за извивами рельефа стены казались древним зодчим в достаточной степени прямоугольными.

Важна не форма клетки, а то, как устроена граница и что у клетки внутри. Хотя, конечно, когда рассматриваешь планы древних городов – Вавилона, египетской Гизы, Милета, японской Нары – и сравниваешь их с Барселоной, Парижем, Лос-Анджелесом, то это немного поражает, поскольку они неотличимы. Прямоугольные кварталы, чуть различные по форме и размерам, равно свойственны древним империям, республикам, просвещенным монархиям, буржуазным демократиям и тоталитарным мечтателям. Как будто вся история городского человечества в ее высших проявлениях – это просто тетрадка в клетку.

Но эти квадратики кварталов заполнены разным содержанием. В древних городах Месопотамии, Египта, Греции и Китая этот квадрат – просто частное владение. И осваивается оно так же, как садовый участок: сначала строятся высокие стены, чтобы никто не увидел, что внутри, к этим стенам пристраиваются жилые помещения, и все они выходят в центральный двор, патио, где, собственно, проходит жизнь кроме сна – там собирают воду, там бассейн, там готовят еду и т. д. Вообще, древние города были, видимо, в большей степени похожи на мусульманские махалли – кварталы Узбекистана или Туниса, которые сохранили античный идеал непосредственно до сегодняшнего своего массового уничтожения средствами индустриального домостроения. Узкие переулки на одного осла с упряжкой, высокие глухие каменные стены, пахнет сухой горячей гнилью, в праздник по улицам течет кровь казнимых баранов, орут одуревшие от нее кошки и собаки, а внутри, за заборами, – дворцы, фонтаны, сады, бассейны, восточная нега и послеполуденный отдых фавна. Поразительным образом мы воспроизвели ту же структуру пространства в дачных поселках на Рублевке, только каменные заборы заменяет старый добрый профнастил.

Чтобы получить европейский квартал, понадобилась тысячелетняя эволюция. И связана она была с тем, что европейские народы, в отличие от южных, никаких кварталов не знали и жить в них не желали. У них было совершенно иное устройство коллективного пространства, основанное на ином изобретении – «длинном доме», который нам известен по скандинавским раскопкам.

Планы ранних европейских городов (скорее деревень) хорошо исследованы, Анри Пиренн описал их еще в 1920-1930-е годы, а позднее они были детально исследованы великим французским историком Жаком Ле Гоффом. Если совсем просто, то структура там такая. Через город идет лента дороги. А к ней, как флажки, привязываются участки отдельных владений. Эти участки узкие и длинные, с задней стороны они ничем не ограничены и могут быть длинней или короче – кому как надо. Но они ограничены с боков – соседями, на главной дороге у всех одинаковая ширина.

Это, конечно, не «длинный дом» скандинавского типа, где на всю эту полосу было только одно помещение. Но это результат его эволюции. Этот дом имел иную морфологию, чем античный. К дороге примыкало главное помещение – лавка, трактир, общий зал. Это было сердце дома – а вовсе не двор в центре участка. Над ним, на втором этаже, располагалось жилище хозяина. Дальше шли жилые помещения второстепенных членов семьи и работников, потом кладовые, потом производственные помещения, потом хозяйственный двор, потом огород. Чем дальше от улицы, тем больше это похоже на деревню.

В принципе, город можно построить и на этой основе. И, скажем, Лондон с его структурой длинных и узких кварталов из таунхаусов в значительной части так и построен. Но европейские города в большинстве своем основаны на местах римских поселений и унаследовали прямоугольную сетку кварталов. И европейский квартал – это результат наложения, скрещивания двух совершенно различных структур расселения. Это очень сложная клетка. Она, по видимому, появилась где-то в начале XII века. Квадраты кварталов внутри нарезились ленточками, и в них строились отдельные дома.

Клетка получила два новых органа. Во-первых, фасад. Теперь квартал выходит на улицу не глухой стеной, а, наоборот, передом дома, он не защищается от улицы, но приглашает войти, открывается магазинами, кафе, банками и т. д. Во-вторых, общий двор. И это – отдельная проблема.

Не все европейские горожане строили себе «длинные дома». Существовала аристократия. Есть отдельная история про то, как античный способ расселения прожил Средние века, но, так или иначе, к XVI веку в Европе возникло новое изобретение – городской дворец. В отличие от «длинного дома», он занимал квартал целиком. В отличие от античного дома, он получил роскошный фасад, правда, не для торговли, а для достоинства. И у него был роскошный двор, то, что у нас называется курдонер, буквально «двор чести».

Если вы помните первую парижскую сцену «Трех мушкетеров» Дюма, где д'Артаньян ухитряется нанести оскорбление Атосу, Портосу и Арамису сразу, то действие там происходит во дворе городского дома де Тревиля. Двор европейского дворца – это место, где постоянно находятся дворяне, гвардейцы и мушкетеры, которые соревнуются друг с другом в богатстве и доблести, это гостиная для светского общения, место политики, интриг, сплетен, дуэлей, замена античной агоры.

Вальтер Беньямин в «Московском дневнике» замечает, что у московских улиц «есть одна странность: в них прячется деревня» – имеется в виду, что, зайдя в подворотню, внутрь квартала, он обнаруживал там совершенно сельский, не городской пейзаж. На улице – ровный ряд доходных домов, а на задах – деревня. Собственно, всем известная картинка из букваря – «Московский дворик» Василия Поленова – это вид во двор из его окна в Трубниковском переулке. Но картина, которая в конце 1870-х годов была такой очаровательно московской, на самом деле запечатлела этап в эволюции европейского квартала, который проходили все

европейские города – просто Москва позже других. Зады «длинного дома», которые выходили внутрь квартала, это были именно сельские зады, место хранения инвентаря, повозок, разного нужного в хозяйстве скарба, а вовсе не «сердце дома», как в античности. В английских длинных кварталах там до сих находятся крошечные палисадники и ямы для угля. Двор европейского квартала сначала был задрами – складами для дров, конюшнями, парковками для телег и т. д. Это была не деревня, но нечто вроде городской окраины.

Понадобилось воздействие образа роскошного двора из дворцовой архитектуры, помноженное на желание буржуазии жить по аристократическому образцу, чтобы возник тип европейского буржуазного квартала – роскошный двор, окруженный стеной отдельных домов одной высоты и кратной ширины, парадный въезд во двор и множество сложных, разнообразных фасадов, подчеркивающих отличие каждого дома от стоящих рядом.

Это кварталы Парижа и Каменного острова в Петербурге, сохранившиеся дома Западного Берлина и Вены, Рима и Барселоны конца XIX – начала XX века. Это сложное изобретение, которого никто не изобретал, оно родилось само из вековой эволюции. Но после рождения его в течение двух веков шлифовали и совершенствовали архитекторы Европы. Это результат двух наложений – варварского европейского расселения на античные города и аристократического дворца на буржуазный квартал. До сих пор это самое комфортное и дорогое жилье в мире. Ничего лучше и сложнее для построения городской ткани пока не изобретено.

Европейские кварталы могут быть прямоугольными или свободных форм, но при этом они сохраняют эту морфологию клетки. Шахматы – сложная игра, плоскостной порядок из 64 клеток создает множество вариантов и стратегий поведения. Но европейский город – это четырехмерные шахматы человеческой комедии, где ячейка твоего пространства (комната) встроена в порядок таких же помещений в доме, который встроен в порядок домов в квартале, который встроен в порядок кварталов в районе, который встроен в порядок районов в городе, – и при этом ты можешь двигаться по сложным правилам. И все эти отношения продуманы и гармонизированы.

Эта система обеспечивала уместность каждого дома в городе и каждого горожанина в городском сообществе. Она была устойчива, способна к самонастройке и эволюции. Какой самовлюбленный дебил мог решить, что ее можно уничтожить и придумать что-то принципиально лучшее? Мы, в общем, знаем, кого обвинить, – Корбюзье. Но, честно сказать, европейский квартал погиб сам, Корбюзье лишь сделал из этой гибели выводы.

Почему это произошло? Очень просто: от бедности и от жадности. Это изобретение оказалось слишком дорогим.

В конце XIX – начале XX века город стали массово заселять рабочие, которых тогда на заводах и фабриках требовалось на два порядка больше, чем сегодня. Они мало зарабатывали, и им нужно было жить по возможности компактно – иначе их трудно было бы доставить на завод к одному времени. Так возник американский «гантельный» дом. Это квартал, застроенный домами практически полностью, вместо внутреннего двора оставалась узкая щель. «Гантельным» он называется потому, что узкие ленточки домов, на которые нарезался квартал, в плане были в форме гантели, чтобы между двумя соседними ленточками образовывалась щель для света и воздуха. Квартиры из-за высокой плотности получились сравнительно дешевыми, но естественного света почти не было, свежего воздуха тоже, столпотворение бедных людей, плохая звукоизоляция, коридорная система не украшали жизнь. Зато девелоперы и домовладельцы получали от рабочих даже больше денег, чем от буржуа с квартирами в нормальных кварталах. Любви к ним это не прибавляло. Принято говорить, что это было ужасное жилье, хотя по сравнению с отечественными бараками или общежитиями для рабочих здесь были определенные достоинства.

Эта предельная плотность взорвала квартал изнутри. Архитекторы левых убеждений, Корбюзье прежде всего, придумали простую и очевидную вещь – жилую башню. Если уничто-

жить квартал, оставить только его территорию и построить на ней башню, то каждое окно увидит солнце, ветер будет продувать все квартиры, хватит места для зелени, а плотность можно создавать любую, просто повышая этажность.

И это было правдой. И Корбюзье, который это пропагандировал, действительно придумал лучшее жилье для рабочих, чем предлагали переуплотненные кварталы. Но тут были свои издержки. Была потеряна улица, фасад, общественный первый этаж, двор – и в конечном счете город. Вместо четырехмерной шахматной доски возникло образование из пятен с вертикальными муравейниками и дорожками между ними. Сложная морфология городского организма разложилась до элементарной протоплазмы. Квартал умер. Возник микрорайон.

Регулярная планировка

В 1935 году в воронежской ссылке Осип Мандельштам написал стихотворение трагическое и ироническое.

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Я думаю, оно является вариацией темы «Памятника» Горация. Памятником оказывается яма (могила) – в силу своей физической иррегулярности. А еще мне, прошу прощения за урбанистический взгляд, кажется, это очень неординарное размышление о природе линейной и свободной планировки.

Как ни странно, в истории мы не наблюдаем эволюции от городов иррегулярных к регулярным. Казалось бы, сначала должно появиться поселение свободной формы, потом ему должны придать геометрический порядок. Однако и в Вавилоне, и в Мохенджо-Даро (главном городе Хараппской цивилизации), и в Гизе (Египет, Древнее царство), то есть во всех центрах изобретения городской цивилизации мы с самого начала сталкиваемся с регулярными планами. Это даже завораживает. Изобретение регулярной планировки оказывается современным изобретению города вообще.

Стоит напомнить, что города появляются примерно тогда же, когда и письменность. Не знаю, насколько оригинальным является это сравнение, но для археолога или человека с филологическим опытом очевидно визуальное сходство регулярных планов древних городов с древнейшими памятниками письменности – будь то хеттские клинописные таблички или египетские рельефы и папирусы.

Письменность и регулярный план – это изобретения-современники и, как мне кажется, родственники. Если угодно, регулярный план – это текст, написанный прямо на земле. Тем более поразительно, что одновременно существуют города регулярные и иррегулярные. Изобретение регулярности выглядит колоссальным цивилизационным скачком, но оказывается, что им можно пользоваться, а можно и нет. Это все равно как изобрести колесо и откатить его в сторону.

С семиотической точки зрения прямоугольные кварталы на территории являются знаками-индексами в классификации Чарльза Пирса (то есть такими, в которых означающее физически связано с означаемым – как, скажем, этикетка с бутылкой, на которую она наклеена). Это индексирование в древности происходило буквально, путем разметки плана города на местности, прочерчивания границ плугом (как делал Ромул при основании Рима). В известной степени так же происходит до сих пор (с той разницей, что план сначала вычерчивается на бумаге или в компьютере). Вопрос: что означают эти прочерченные на земле прямоугольные знаки? И почему ими можно не пользоваться, что заменяет эти знаки, когда регулярной планировки нет?

Об этом и говорит Манделъштам. Улица потому получает его имя, что она (яма) и он (поэт) «нелинейны». Индексом для иррегулярной территории является человек. Следом такого означивания человеком места являются наши именованья улиц – хоть той же улицы Манделъштама, которая так и не появилась в Воронеже, хоть Немцова моста, который так и не появился в Москве. Из таких обжитых и означенных смертью мест и складывается органическое, иррегулярное поселение. За этим стоит представление о неразрывной, сакральной связи человека и территории. Вспомните запреты на продажу земли в феодальной экономике, принципы майората – живые знаки-индексы не могут меняться или дробиться. Кстати, забавным рудиментом этой идеи в современной экономике является необходимость нотариального заверения купли-продажи недвижимости (чего не нужно делать ни с едой, ни с одеждой, ни с механизмами): земля – это такой товар, покупка которого за деньги не вполне законна, нарушает порядок вещей, и требуется юридическая процедура его восстановления.

Что означает регулярный прямоугольник территории, если при свободной планировке участок индексирует связанный с ним конкретный человек? Если бы, скажем, в Манделъштаме было «много линейного», если бы это был такой стандартный, «прямоугольный» Манделъштам, то его имя ничего не говорило бы о месте. Его человеческое качество свелось бы к квадрату.

Здесь стоит вспомнить о роли геометрии в древних цивилизациях. Пифагорейцы, а за ними Платон, видели в геометрии выражение метафизического порядка мироздания. Отсюда проистекают эзотерические следствия учений о пропорциях, но в случае с регулярной планировкой речь идет о самом элементарном геометрическом порядке. Однако смысл его не столько элементарен, сколько обобщен. Сама акция соотнесения территории с геометрическим порядком делает ее причастной к порядку разума. Природа не знает прямых углов, регулярная территория – это не просто *terra*, но *terra sapiens*.

Если угодно, иррегулярный город сплошь состоит из имен собственных – он размечен уникальностью судеб тех, кто здесь жил и умер. Регулярный город – это город местоимений. В каждом конкретном квартале может жить кто угодно, а может не жить никто, для прямоугольных территорий важно только одно их свойство – наличие сознания.

Спиро Костоф потратил много сил на то, чтобы доказать, что регулярность планировки города не имеет политического смысла. Его аргументы не лишены убедительности и остроумия. На основе сетки устроены города демократические (как у греков или американцев) и авторитарные (как в Древнем Китае, Риме или СССР) – форма города ничего не говорит об устройстве власти. «Сетка – это сетка и ничего, кроме сетки» – вот формула Костофа. Она звучит прекрасно, но я не могу согласиться. Сетка не имеет конкретного политического смысла, но сетка имеет политический смысл как таковой. Сетка – это власть.

Это не обязательно власть авторитарная. В традициях американской урбанистики принято связывать регулярную сетку с демократическим устройством, и это естественно для людей, у которых есть Нью-Йорк. Отцы-основатели США полагали, что правом голоса обладает землевладелец, а земельное законодательство этого времени предписывало размечать землю в ортогональной сетке, так что вместе получался яркий пространственный образ демократии – все граждане равны, у всех равные наделы, каждого можно свести к квадрату. Однако при этом стоит иметь в виду, что и Мэдисон, и Джефферсон, и Джей, и даже Гамильтон были людьми Просвещения и классицизма и, придумывая страну, вдохновлялись моделью древнегреческой колонизации.

Сами по себе люди, поселившиеся рядом, в силу, я думаю, невозможности сбалансировать два базовых стадных инстинкта – права на равенство и права на первенство – не могут разделить свою территорию на равные части. Для этого нужен внешний фактор, осуществляющий это деление. Конечно, города мормонов (Солт-Лейк-Сити), греческих колонистов (Милет, Приена), римские военные лагеря (Тимгад, Сплит), сталинские и муссолиниевские города

имели разное политическое устройство. Однако у них есть одна общая черта – все они были средствами колонизации территории.

Я считаю, что это право – право перевода пространства из *terra inconscia* в *terra sapiens* – является прерогативой власти. Колонизация – это превращение диких территорий в цивилизованные еще до того, как на них поселились цивилизованные горожане. Колонизация может иметь самые разные цели – хозяйственные, административные, религиозные, – но эти цели достигаются с помощью политической власти. Если город основан железнодорожной компанией (как, например, Такома, штат Вашингтон) для спекуляции земельными участками, то это означает, что политическая власть в городе принадлежала железнодорожной компании, а если в 1833 году Джозеф Смит нарисовал идеальный план Сиона, воплощенный, по итогам исхода мормонов, в Солт-Лейк-Сити, то это значит, что политическая власть в этом городе принадлежала мормонам. Колонизация – властный жест.

Если мы встречаем примеры добавления к городу с иррегулярной планировкой регулярной части (как в Неаполе) или сталкиваемся с регулярной перепланировкой исторического города – это улика вмешательства власти. Пожалуй, один из наиболее ярких примеров в истории градостроительства – перепланировка российских городов Екатериной Великой, учрежденной ей комиссией Ивана Бецкого, когда большинство из них получили регулярные планы. Этот грандиозный опыт можно связать с высказанной Александром Эткингом идеей «внутренней колонизации» как основной стратегии российской государственности. Регулярный план был одновременно и средством модернизации страны, и признаком политического доминирования. Напротив, если мы сталкиваемся с постепенной утратой регулярности в городе – а это история большинства европейских городов, выросших на римской основе, – то перед нами след «ухода» власти из города.

Так происходило вплоть до XX века – и вдруг все перевернулось. Бесконечные новые районы СССР, отчасти Европы (Франция, Германия), Азии – колонизация спальными районами происходит в форме оккупации свободных пятен без всяких признаков регулярности. Напротив, квартальная застройка исторических центров начинает ассоциироваться со свободной городской жизнью, традициями и «правом на город» (термин Анри Лефевра 1968 года, акцентирующий права городских сообществ в противостоянии власти и спекулятивному девелопменту). Как это возможно?

Мне кажется, для ответа на этот вопрос стоит вспомнить, что в традиционном городе прямоугольник квартала застраивался сравнительно свободно. Мы встречаем там большое разнообразие форм – от городских вилл до многоэтажных домов-каре, от дворов-колодцев до парадных внутренних улиц. Свободная планировка спальных районов неотделима от стандартных жилых ячеек многоквартирных домов. Многоквартирный индустриальный дом – это регулярный город, сведенный в один объем, квадрат квартала, превратившийся в кубик квартиры. Именно поэтому, мне кажется, индустриальное многоквартирное жилье имеет достаточно ощутимый привкус репрезентации власти, и авторитарные режимы – как Россия или Китай – отдают заметное предпочтение этой форме расселения. Так власть становится ближе, интимнее: она приходит к вам в квартиру. По сравнению с этим клетки кварталов кажутся символами гражданских свобод и неформальных сообществ горожан.

Общественное здание

Изначально слово «потлач» обозначало особый праздник американских индейцев. Термин приобрел популярность после 1921 года. Некто Дэн Кранмер, видный представитель племени кваквэваквов из Британской Колумбии, устроил потлач на 300 человек. За пять дней он уничтожил все свое имущество. Он раздавал каноэ, моторные лодки, одеяла, керосиновые лампы, скрипки и гитары, кухонные принадлежности и швейные машины, граммофоны, кровати и письменные столы, одежду, деньги (желающие могут подробно прочесть об этом – в частности, в статье Никиты Бабенко «Потаенный потлач»).

Многие участники праздника оказались под судом.

Криминализация потлача – результат усилий миссионеров и благотворителей. После колонизации, когда индейцев свели в резервации, они оказались объектом постоянной благотворительной помощи: их учили, им строили дома, привозили одежду, мебель, посуду, лодки, орудия труда и т. д. С прискорбием дарители обнаруживали, что хотя индейцы ценят это, но не так, как хотелось бы. Они сохраняют дары в виде сокровищ, а в назначенный день сокровища раздариваются и уничтожаются. Это поведение подрывало надежду на то, что индейцы пусть постепенно, но когда-нибудь втянутся в цивилизацию и прогресс. Поэтому еще в 1884 году был принят закон о запрете потлача. Он не очень исполнялся, а к 1921 году чаша терпения переполнилась и был организован судебный процесс. Из 45 задержанных участников церемонии 22 отправились в тюрьму. Остальные согласились добровольно сдать танцевальные маски, церемониальные свистки и прочие ритуальные принадлежности потлача и получили условные сроки.

Жорж Дави в книге «Вера в клятву» (1922) первым предложил трактовку праздника – потлач как форма социального символического обмена. Потлач осуществляет вождь племени, он может концентрировать в своем распоряжении богатства постольку, поскольку растраничивает их в момент потлача.

Сразу за Дави вышло знаменитое исследование Марселя Мосса «Очерк о даре», где потлач был осмыслен в контексте идей символической экономики. Потом Жорж Батай противопоставил потлач как «политэкономии траты» буржуазной «политэкономии накопления». Разрушение своего благосостояния по Батаю – это «микрорепетиция смерти», и тут случилось много интересных смыслов: критика буржуазности, романтика безумия, игра в самоубийство – после Батая потлач стал уважаемым термином. Ги Дебор, один из идеологов революции 1968 года, даже издавал в 1950-х годах в Париже журнал «Потлач».

Но при всей значимости этих левых смыслов сравнительно внятным объяснением уничтожения ценностей являются именно идея Дави – социальный обмен и достижение господства. Действия Кранмера можно сопоставить с поведением другого известного персонажа, и в этом свете они становятся менее абсурдными.

В должности эдила он украсил не только комиций и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости... Граждан, которые приходили к нему сами или по приглашению, он осыпал щедрыми подарками, не забывая и их вольноотпущенников и рабов, если те были в милости у хозяина или патрона... Крупнейшие города не только в Италии, Галлии и Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками... Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой... Атлеты состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсова поля. Для

морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском (Хвощовом) поле, в бою участвовали биремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стеклось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора.

Эти цитаты из Светония, повествующие о Юлии Цезаре, хрестоматийны. Не менее хрестоматийна и сама практика дарения властью праздников, зданий, вещей, еды и денег городу и горожанам. Гениальный Цезарь тут не отличается от безумного Каракаллы, а средневековые герцоги и короли, абсолютные и конституционные монархи не отличаются от римских императоров.

Принципиальной является идея экономической бессмысленности траты. Средства, потраченные властью на что-то нужное – направленные на повышение жизненного уровня населения, создание рабочих мест, инфраструктуру и т. д., – в данной логике смысла не имеют.

У Пушкина Борис Годунов сетует:

Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —

Вслед за Годуновым такие сетования, я полагаю, произносятся на заседаниях или в тиши кабинетов более или менее все властители, склонные к заботе об общественном благе. Однако эти меры потлачем не являются и в силу этого власть не укрепляют. Должно быть нечто утилитарно бессмысленное. В зависимости от экономической ситуации, даже общественного строя, эта бессмысленность может быть разной – от отсутствия утилитарной функции до экономической неэффективности, и подпадать под нее могут разные объекты – институты религии, образования, культуры и т. д. Но логика одна: действия Юлия Цезаря по строительству форумов, Улугбека по строительству обсерватории в Самарканде, Людовика Святого по возведению Сент-Шапель в Париже, королевы Виктории по строительству великих музеев Лондона и президента Путина, дарящего россиянам зимние Олимпийские игры в Сочи, имеют общую природу. Это ритуал обмена экономически бессмысленной траты на укрепление символического господства.

В этой перспективе едва ли не весь город, и уж точно любое общественное здание, становится репрезентацией власти, ее бесконечной щедрости и морального долга горожан перед ней.

Есть такое российское понятие – моногород. Оно соответствует американскому *company town*, и, даже имея в виду степень участия американцев в программе советской индустриализации (один Альберт Кан, главный архитектор General Motors, спроектировал более 500 заводов!), не просто соответствует, а является трансформацией американских промышленных городов. Это крайнее выражение идеи индустриального города. *Company town* 1870-1900-х годов включает в себя жилье для рабочих, завод и логистический центр. Кроме них, там обычно были салун и церковь. Советская власть салун заменила ларьком, а церковь убрала, но добавила райком, школу, поликлинику и клуб (кинотеатр). У нас сотни городов, выстроенных по этой модели, и выглядят они более-менее чудовищно, и отдельно в них ужасны именно горком, клуб, школа и поликлиника.

Но при этом эти здания – единственное, что делает эти поселения городами. Без них мы получаем деревню, в которой жители работают не в поле, а на заводе (как при петровской индустриализации, когда к заводам приписывали крепостных), или то, что позднее называлось рабочей слобода, или то, что в наследованной нами советской номенклатуре называется

«поселок городского типа». Именно наличие институций образования, медицины, культуры и управления, именно наличие отдельных зданий для них и есть то, что отличает город от не-города. В деревне для всего этого зданий как правило нет, а те, что есть, появились в результате советских программ уничтожения различия в уровне жизни между городом и деревней.

И все эти институции и здания создаются властью. В России тема отношений государства и общества довольно болезненна, тем не менее рискну сказать, что общественное здание, которое не создается государством, – это скорее исключение, чем правило. В тех случаях, когда городское сообщество само из себя решает построить общественное здание, оно начинает перерождаться в государство (например, собирая обязательные взносы с горожан на это строительство), и само это строительство служит симптомом такого перерождения (это история городов-государств, средневековых и античных). Театры, музеи, стадионы, школы, больницы и т. д. – все это в подавляющем большинстве случаев дар городу от власти. И имея в виду, что именно они делают город городом, – дар города от власти.

Конечно, у жителей это вызывает смешанные чувства и ведет не только к их радости, но и к появлению различных контрстратегий. Можно пытаться разрушить монополию власти на дарение. Современная Америка, где чуть не на каждом общественном здании написано, на чьи частные средства оно построено, или Москва XIX века, где все больницы, гимназии и музеи были построены на средства купцов (о чем прекрасно рассказала в своих книгах Галина Ульянова), являются одними из ярких примеров такой стратегии. Правда, те меценаты, которые дарят городу здания из личных средств, иногда оказываются представителями семейств, которые правят городом, или друзьями правящих домов, так что это отчасти государство в маске частного лица. Это игры демократии. Но автократоры или гибридные режимы реагируют на частное меценатство или законами, подавляющими такую благотворительность, или прямым управлением этой благотворительностью (в сегодняшней Москве мы видим и то и другое).

Другая заключается в том, чтобы перевернуть отношения: создавать группы горожан, требующих от власти общественных зданий и общественных пространств так, чтобы вместо дара получался сервис по обслуживанию жителей. Тогда мы выходим из логики потлача и перемещаемся в осмысленные меры вроде тех, которые неудачно применял Борис Годунов. Правда, мне кажется, что и в этом случае на самом деле переосмысления дара не происходит – оперный театр в Копенгагене или парк Хай-Лайн в Нью-Йорке все равно репрезентируют власть. Впрочем, возможно, я просто не могу представить себе ощущений горожан в развитых демократиях – у меня недостаточно соответствующего гражданского опыта. Но в любом случае при реализации этой стратегии горожане не чувствуют себя оскорбленными самим фактом дара.

Самая же распространенная стратегия сопротивления заключается в том, чтобы символически деконструировать дар, объявляя его бессмысленным, вредным и произведенным незаконно. Типологически это те же аргументы, что у миссионеров и благотворителей из Британской Колумбии, цивилизованных людей, столкнувшихся с дикарями и оскорбляющими религиозные чувства дикарей. Сегодня в Москве мы в некотором смысле присутствуем на празднике потлача, даже превышающем по масштабам щедрость Дэна Кранмера, – это московское благоустройство.

Но сама деконструкция только подчеркивает значение конструкции. Власть дарит городу статус города путем создания институтов, возвышающих людей из состояния жителей до состояния горожан. Это обязательное возвышение, благодеяние, от которого трудно уклониться. Оно обеспечивает легитимность власти.

Архитектура

Считается, что после Освенцима поэзия невозможна. Хотя не все поэты с этим согласны, резон тут есть. Причем проблемы возникли не только у поэтов. После Освенцима под вопросом также оказались живопись, скульптура, архитектура – они не прекратились, но потеряли позицию. Это ощутимо, хотя суть позиции трудно определить.

Возьмем деконструкцию, заменившую авангард в архитектуре. Даниэль Либерскинд, Питер Айзенман, Заха Хадид, Рем Колхас и другие участники выставки 1988 года в МоМА, которая стала манифестом нового движения, в 1970-1980-х были очень увлечены образами русского авангарда и футуризма – работами Эль Лисицкого, Наума Габо, Родченко, Малевича. Некоторые ранние проекты Либерскинда и Хадид производят в этом смысле почти ученическое впечатление. При этом одно течение называется конструктивизм, а второе – деконструктивизм, что предполагает программную антонимичность. Это интригует на фоне видимого сходства.

Авангард предполагает формотворчество – создание новых форм. Освоенные паттерны архитектурной формы – тектоника, масштаб, ритм, акцент, контраст, центр и периферия, вертикаль и горизонталь, симметрия – могут отвергаться для демонстрации изобретения и отвергаются в конструктивизме. Деконструкция при визуальной синонимии занята иной проблемой. Она разрушает те же паттерны ради атаки на архитектурную форму вообще: рациональность становится иррациональностью, упорядоченность – хаосом, устойчивость – исключением всякой возможности равновесия.

Чарльз Дженкс, главный теоретик архитектуры постмодерна, в конце 1990-х (в последнем издании своей книги «Язык архитектуры постмодернизма») включил деконструкцию в корпус постмодернистской архитектуры, несколько поразив и ее главных героев, и коллег-теоретиков. Что может быть общего между ироническим цитированием ордерного языка у Роберта Вентури или Чарльза Мура и рваной органикой Захи Хадид? Однако в этом сближении был некий смысл. Цитата, если угодно, тоже деконструирует архитектурную форму: форма становится неорганичной, она не растет из одного источника, она представляет собой «чужое слово» (если пользоваться термином русского теоретика культуры Михаила Бахтина), разрушающее единство авторской речи. Цитирование – это атака на целостность формы. В определенном смысле та же атака, которую предпринимает деконструкция.

Я кратко излагаю эти сравнительно общеизвестные тезисы вот для чего. Предположим, мы принимаем: архитектура после Освенцима невозможна. Она подвергается яростной атаке: архитекторы как будто вместо того, чтобы строить здание, проектируют, как его взрывать, или по крайней мере фиксировать архитектурную форму через секунду после взрыва, когда части стен еще не разлетелись во все стороны, но уже начали свой полет. Вопрос – почему? В чем смысл? Освенцим, конечно, чудовищная катастрофа, но зачем же стулья ломать?

Это выглядит абсурдом, если не вспомнить другое не менее хрестоматийное обстоятельство. Главной интенцией архитектуры авангарда было жизнестроительство. Архитектор проектирует не здание, архитектор проектирует жизнь посредством здания. Ровно это делало архитектурный авангард архитектурой русской революции, ровно это приводило его к изобретению новых типологий (домов-коммун, клубов), ровно это оправдывало поиск новых форм. Но что значит проектировать жизнь? Чье это занятие? Кто занимается разделением людей на группы, создает для них сценарии поведения и велит им действовать в соответствии с этим сценарием? Это делает власть. Неважно, делает она это посредством приказов, агитации и пропаганды, решеток или камер слежения, подслушивающих устройств или физическим насилием. Важно, что жизнестроительство – это управление людьми.

Мне лично жизнестроительство представляется явлением более или менее отталкивающим. Однако важно понимать, что у многих архитекторов это один из краеугольных камней

профессионального самостояния. И сегодня большинство выпускников МАРХИ в ответ на вопрос, почему они выбрали профессию архитектора, отвечают, горя глазами, что архитектор, он не просто проектирует дома. Он проектирует жизнь, он строит счастье людей. Ребята, а вам не приходит в голову, что вы просто хотите власти? Вам не в архитектурный институт надо было, а в мелкие чиновники.

Это было лирическое отступление. Посмотрим на власть в менее практическом смысле. Поэт, музыкант, актер – все они имеют власть над людьми. Отличие архитектора в том, что его творение захватывает граждан на более продолжительное время, так сказать, в постоянном режиме, но в ослабленной форме. От застывшей музыки легче абстрагироваться, чем от истекающей тебе в уши, но застывшая – всегда с тобой.

В этом смысле нельзя сказать, что жизнестроительство – это исключительное свойство архитектуры авангарда. В авангарде оно просто предъявлено как позиция в социальной революции, отчего отчаянно заметно. Но в предшествующем авангарду модерне оно осознавалось никак не менее программно. Достаточно вспомнить идею *Gesamtkunstwerk* Рихарда Вагнера – замысел превращения жизни в тотальное произведение искусства, синтеза театра, музыки, архитектуры, живописи и т. д. Напомню, что Борис Гройс, русский философ культуры, написал знаменитую книгу «*Gesamtkunstwerk* Сталин» – по его мнению, это превращение в полной мере осуществилось в виде государства как произведения искусства со Сталиным в качестве автора. И хотя Виктор Арсланов, российский теоретик искусства и историк искусствознания (убежденный марксист), доказывает, что превращение искусства во власть – это свойство именно авангардного и поставангардного искусства (у него есть текст «Малевич, мавзолей и воля к власти»), спасая тем самым от упреков идеалы высокой классики, в этом все же возникают определенные сомнения. Возьмите архитектуру Французской революции – Булле, Леду, Лекё, которых так любил Вячеслав Глазычев (он даже перевел на русский совершенно неудобоваримую книгу Леду). Не было ли в ней идеи управления революционными массами посредством архитектурной формы? Не есть ли эта форма всегда институт социальной власти?

Об архитектурной форме. Как это ни странно, с философских позиций это абсурдное явление, переворачивающее порядок мира наизнанку. У Аристотеля форма – это смысл вещи, ее идея, и само это понятие соответствует платоновскому «эйдосу» (идее). Без формы материя – это еще ничем не ставшее нечто. Форма проникает внутрь материи, одушевляет ее и приводит к актуальному бытию. Она, конечно, может проявиться снаружи предмета, Аристотель, скажем, приводит пример медного шара, где медь – материя, а шар – форма. Но может и не проявиться: скажем, человек – это тело (материя) и душа (форма), а душу так прямо снаружи не выдать.

В любом случае «философская» форма – это не внешняя граница, не сосуд, в который заливается бесформенная вода. Архитектурная форма же может быть самой разной, но она никогда не форма ДНК, структурирующая тело изнутри. Она – внешняя граница, формующая материю извне. Правда, теоретики эпохи модерна и авангарда попытались создать альтернативную теорию архитектурной формы, при которой форма здания должна отражать его внутреннюю сущность (и тогда это истинная архитектура), а не быть его внешней декорацией (и это архитектура ложная). Я подозреваю, кстати, что сама по себе эта теория возникла под влиянием Аристотеля, в надежде как-то привести в соответствие архитектурные представления с философией. Но даже в этой парадигме (у Моисея Гинзбурга, скажем) архитектурная форма отражала, выражала внутреннее содержание, но не была им. Оставляя в стороне вопрос о том, до какой степени это понимание архитектурной формы продуктивно, обращу внимание на то, что в истории архитектуры это было выворачиванием здания наизнанку, изнутри наружу, что и обеспечивало приему статус авангардного жеста. То есть вся остальная история архитектуры была устроена более или менее не так. Она занималась внешней границей.

Искусствоведение как наука возникло в конце XIX века как изучение художественных форм. Алоиз Ригль, один из отцов искусствознания, выдвинул понятие «воли к форме» (Kunstwollen) – синтетической силы, которая заставляет художника творить форму. Это скорее философский или поэтический образ, чем научное понятие, и тут важна рифма с другим таким же образом, возникшим чуть раньше. А именно «воли к власти» Фридриха Ницше. Это как будто бы не вполне одно и то же, «воля к власти» – это воля к господству над социумом, «воля к форме» – это воля к господству над материей. Или все же это варианты одного и того же господства?

На этот вопрос можно отвечать с двух концов. Можно со стороны архитектора, и тогда это вопрос о том, насколько формотворчество тождественно борьбе за власть. Эта тема сложна, спекулятивна, и вопрос никогда не будет иметь однозначного ответа. Но можно со стороны власти, и тут все решается гораздо проще. В городе ограничение, оформление, форма – это воля власти.

Жизнестроительство – это претензия архитекторов на власть. У нас власть не склонна делиться полномочиями. Ровно поэтому мы оплакиваем прерванный полет русского авангарда: это результат конкуренции между архитекторами и властью за право управления социумом, в которой власть победила, как только сообразила, на что они замахнулись. Ровно поэтому архитектурная форма оказалась под вопросом после Освенцима. Если форма – это жест власти, а власть приводит к Освенциму – тогда любой формотворческий жест вызывает этическое сопротивление.

Именно поэтому любая выраженная, артикулированная архитектурная форма воспринимается в городе как выражение власти. Это расстраивает, поскольку оказывается, что архитектурное творчество вообще не может быть оппозиционным. Вернее сказать, оппозиционной не может быть современная нам архитектура – она всегда есть установление ограничений пространства здесь и сейчас. Горожанами она воспринимается как насилие, и степень активности их реакции определяется только тем, насколько это насилие в их глазах легитимно. Никакое художественное усилие не в состоянии перебороть этот инстинкт свободы.

Но она утрачивает это качество, как только опознается как архитектура не современная, например как архитектура прошлого, и на этом основана борьба горожан против сносов как форма оппозиции. Архитектура прошлого в обществе, расколотом, как наше, – это тотально оппозиционная архитектура, и ее ценность и художественные достоинства совершенно неважны. Снос старого здания для строительства современного, любое приспособление, реконструкция, ремонт – это жест утверждения власти, провоцирующий жесты сопротивления граждан.

У архитекторов есть альтернатива: они могут создавать «архитектуру будущего». Будущее еще не принадлежит власти, оно открыто, и, мне кажется, именно с этим связана ценность авангардного мироощущения у архитектурного сообщества. К сожалению, оно не принадлежит никому, не только власти, оно многовариантно. Можно предложить только свою версию. Но тех, кто воспринимает эту первую ласточку как провозвестник будущей весны, ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто рассматривает ее как еще одно утверждение власти в настоящем. Поэтому Москва – это настоящее кладбище первых ласточек, которые не смогли взлететь.

Власть

Английское *city*, как и французское *cit *, происходит от латинского *civitas*. То есть город для романо-германского языкового сознания – прежде всего «общество». Возможно поэтому в европейской и американской урбанистике так важна городская социология. В русском «городе» важнее наличие не жителей, а ограждения. Для европейских языков огораживание тоже важно, но корень убежал в другое семантическое поле: родственным русскому «городу» является английское *garden* или немецкое *Garten* – «сад». Так что русские города с европейской точки зрения – это как бы сады. Может, поэтому они такие разлапистые.

Впрочем, английский *town* происходит от кельтского *dunum* (земляной вал), откуда немецкое *Zaun* (забор) или русский «тын». Исторически огражденность – стены – является главным признаком города как такового.

Крепость – военная вещь, и есть длинная история крепостей, определяемая эволюцией военного дела. В Новое время крепости заменяют дворцы. Это родовое имя для здания власти. И даже если во дворце находится не власть, это не отменяет того, что здание, если оно зовется дворцом, репрезентирует власть. Если в городе возникают дворец культуры, дворец молодежи, дворец спорта и т. д., это всего лишь означает, что власть в этом городе подтягивает себе легитимности из культуры, молодежи или от спорта.

Начнем с дворцов. Мы более или менее четко понимаем, какие помещения должны находиться в квартире, в особняке, в банке, в храме и т. д. И мы не то что не понимаем, что должно находиться во дворце, – мы не понимаем, чего там не может находиться.

Исследователь и знаток европейских королевских и императорских дворцов Владимир Кокарев ввел термин «мегагостосы». Буквально это значит – большие перекрытые помещения. Хотя нынешняя власть в некоторых странах сильно отличается от абсолютных монархий, тем не менее даже там есть первые лица. У них есть резиденции, и из-за этого нам кажется, что, скажем, дворец французского короля и Большой Кремлевский дворец – это типологически схожие явления.

Но это совсем не так. Российский президент не живет в Кремлевском дворце. Он вообще неизвестно где живет – это государственная тайна. Американский президент, в отличие от российского, живет в известном месте, Белом доме, и вместе с ним живет его семья. Но под семьей имеется в виду ограниченный круг людей. Родители жены американского президента, его кузены с семьями, его дяди и тети не живут в Белом доме. Большим скандалом было бы проживание вместе с американским президентом его любовниц и незаконнорожденных детей – а вместе с французским королем их проживали десятки. Французский социолог Пьер Бурдьё в специальном эссе, посвященном происхождению французской бюрократии, показал ее генезис из «королевского дома», а этот дом – семья в родовом смысле, включающая до сотни человек.

Но дело не только в семье. В Белом доме не живут члены американской администрации с семьями. Там не живет гвардия, охраняющая президентскую власть. Там не хранится государственная казна. Там нет главных национальных художественных собраний, библиотек, помещений для естественно-научных занятий. Нет государственного архива. Там нет тысяч обслуживающего персонала из расчета по полтора человека на каждого проживающего. Там не живут портные, парикмахеры, врачи и все прочие люди, оказывающие необходимые цивилизованному человеку услуги. Там нет мастерских для изготовления мебели, тканей, ювелирных изделий для всего этого народа. А все это находилось в Лувре. Лувр – это примерно пять тысяч человек. Это не дом государя, а дом государства, оно все живет в одном доме. Или иначе – город в одном доме. Собственно, именно поэтому невозможно сказать, чего не может быть во дворце. Все, что есть в городе, может быть и во дворце, потому что это и есть город.

Что отмечает границу этого города? Фасад. За фасадом Лувра, фасадом Зимнего дворца, фасадом дворца Царскосельского могут скрываться самые разнообразные помещения. Однако все это вместе отделено от окружения – фасадом. Фасад – это граница, показывающая вовне некое особое качество всего, что находится за ним. Там может быть что угодно, но все особое.

Вернемся к крепости. Смыслы крепости почти не меняются. И эти смыслы позволяют понять миф власти в городе. Есть три ритуала крепости – стены, ворота и башни, и, забегая вперед, скажу, что они сильно переживают крепость как таковую, превращаясь в городские институты.

Стена. Это выражение деления мира на свое и чужое. Разделение «свой – чужой» – это первичное разделение для человека как стадного животного, но в городе этот навык становится занятием власти. И людей делят не один раз. Только ранние родовые крепости (как Тиринф или Микены) и крепости городов-республик имеют один пояс стен. Иерархизированные общества строят крепости по принципу концентрических колец, где «более свои» выделяются из множества «своих вообще» вписанными друг в друга двумя и даже тремя линиями стен.

Ворота. Задача крепости не сводится к разделению на своих и чужих, тут важны правила перехода. Кстати, с точки зрения обороны ворота вызывают определенные сомнения. Они могут быть сложными – с воротной башней и контрбашней, подъемным мостом, «волчьей ямой», цвингером или захабом, – но они всегда видны. Конечно, есть выгоды в том, чтобы стянуть противника к одной точке, где его можно встретить во всеоружии, заранее приготовившись к обороне. Но, с другой стороны, при всех ухищрениях крепости (до возникновения артиллерии) чаще всего брали именно через ворота. Не вполне понятно, в чем смысл стратегии, которая подразумевает честную демонстрацию противнику самого уязвимого места.

Символическое значение ворот при этом совершенно очевидно. Римский ритуал возвращения победивших войск в город предполагал, что воины остаются вне города (на Марсовом поле), чтобы очиститься от мерзости крови и смерти, потом проходят через врата (триумфальную арку) – и только после этого могут войти. То есть перед нами ритуал очищения. Его экономический аналог – налоговый сбор (налоговое очищение товара), юридический – пропуск, признание права на нахождение внутри города. Чистят разными средствами, а смысл один. За стеной – чужие, их почистили, они стали своими.

Башня. Это прежде всего инструмент для наблюдения. И если представить себе грандиозные усилия, необходимые для возведения башен, то становится ясно, насколько наблюдаемость, зримость важна для власти.

Мишель Фуко подробно описал этот эффект применительно к другой ситуации – институту тюрьмы. Его усилиями Иеремия Бентам, просветитель и либерал, превратился в главного надсмотрщика всех времен и народов, что не совсем справедливо. Но вместо долгого рассказа о связи власти и зрения достаточно процитировать принадлежащее Фуко описание Паноптикона – придуманного Бентамом здания тюрьмы.

По периметру – здание в форме кольца. В центре – башня... Основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти. <...> Бентам сформулировал принцип, согласно которому власть должна быть видимой и недоступной для проверки. Видимой: заключенный всегда должен иметь перед глазами тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. Недоступной для проверки: заключенный никогда не должен знать, наблюдают ли за ним в данный конкретный момент, но должен быть уверен, что такое наблюдение всегда возможно... Человек в здании полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной башни

надзиратель видит все, но сам невидим. Паноптикон действует как своего рода лаборатория власти.

Кстати, Александр Эткинд во «Внутренней колонизации» говорит, что идея Паноптикона пришла Бентаму в голову во время его службы на Потемкина в России – как идеальное жилище для крепостных. В описании Фуко камера Бентама становится чем-то вроде прижимного стекла для микроскопа. Тут важно превращение физического пространства в иное качество. Это умопостигаемое пространство. Оно становится таковым под взглядом власти.

Это сильно действует. На мой взгляд, лучший роман о природе власти – «1984» Джорджа Оруэлла. Там город делится на новые высотные здания, в которых располагаются министерства и жилье для членов партии, и старый город, оставшиеся домики, дворики и сараи. В высотках совсем жесткий порядок, в останках старого города посвободнее, но с высоток на всех смотрят изображения Большого Брата, причем они так устроены, что его глаза – это одновременно камеры слежения за всеми и повсюду. Большой Брат видит тебя, Большой Брат заботится о тебе, Большой Брат помнит о тебе.

Роман вышел в 1949 году и архитектурно был воплощен в течение следующих пяти лет в реальности Москвы. МИД, Котельническая набережная, Кудринская, Красные Ворота – эти высотки строились в старой Москве и оставляли вокруг старые переулки, где в исчезнувших теперь двориках в общих квартирах проживало поднадзорное население. Отсюда феномен «арбатства» – недозатравленных дворовых свободолобцев, выросших в трущобах в тени высотки МИДа. Как и у Оруэлла, свободомыслие завелось в гетто прошлого. Их ощущение города сильно передано у Бориса Слуцкого в описании кортежа товарища Сталина:

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата
В своих пальтишках мышинных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брежжило утро.
Он глянул жестоко, мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Это око с всепроникающим взглядом и по сию пору является главным атрибутом власти, только оно стало механическим и больше не требует высоты. Но бесконечные камеры слежения, которыми наполнены сегодняшние города и которые, вполне по Фуко, то ли наблюдают, то ли нет, но могут наблюдать, – это, так сказать, зримое и очевидное присутствие власти в городе.

Говорить о ценностях власти можно долго, а о ее специфических ценностях трудно: как правило, она разделяет ценности жрецов, а иногда рабочих и торговцев. Но можно ставить вопрос не о природе, но о людях власти – воинах, судьях, бюрократах и т. д. и т. п. Есть ли у них общие ценности? По крайней мере одна есть: все они признают ценность насилия. Конечно, ценность насилия могут признавать и другие. Но могут и не признавать. Мы легко представляем себе жреца или торговца, которые являются принципиальными противниками всякого насилия. Не признающего насилия офицера вообразить трудно.

Основоположник всех видов современной критики власти Жан-Жак Руссо бичевал все институты государства – законы, собственность, образование, культуру, науку, – используя один сокрушающий прием: он апеллировал к человеку в естественном состоянии, к природе,

где ничего подобного не встречается. Мы бичуем вслед за ним, обнаруживая противоестественность самых разных установлений. И везде, где мы сталкиваемся с противоестественностью, мы обнаруживаем домен власти. Образование и медицина, юриспруденция и наука, культура и искусство пронизаны властью в той степени, в какой они противоестественны, в какой отделяют человека от природы.

Наверное, самое ясное и эстетически совершенное архитектурное воплощение абсолютной власти – это Версаль. А самая яркая примета Версаля – это фонтаны. Фонтан – это вода, текущая вверх. Торжествующий манифест противоестественности.

Человек отличается от всего остального, живого и неживого, тем, что у него есть разум. Это кладет между ним и окружением границу. Настолько, насколько она переживается как граница естественного, она переживается трагически. Культуру можно описать как переживание этой границы – это сделал мой друг философ Михаил Аркадьев в книге «Лингвистическая катастрофа». Он выделил две стратегии работы с этой границей: восходящую, попытку найти Высший Разум, задумавший и сотворивший мироздание (тем самым оно становится разумным, и граница снимается), и нисходящую, попытку отменить свой разум и слиться с остальным миром (наркотические, экстатические, оргастические практики). Хотя две эти интонации, восходящая и нисходящая, действительно организуют историю культуры, меня не покидает ощущение, что Михаил Аркадьев услышал именно их, поскольку он музыкант. Существует ведь и третья – удержание границы. Хотя ощущать себя существом противоестественным не слишком приятно, но это более или менее приемлемо по сравнению с перспективой скатиться до состояния животного.

Человек в драке теряет голову и отдается на волю эмоций и инстинктов. Воин сохраняет разум в бою.

Человек испытывает голод и нуждается в тепле. Воин терпит голод и холод, как будто их не существует.

Человеку введома усталость и необходим отдых. Воин не знает усталости и презирает отдых.

Человек боится боли. Воин не обращает на нее внимания.

Человек боится смерти. Воин смерти не боится.

Отсюда вообще-то следует, что воин – не человек. Но на самом деле – не естественное существо. Не животное.

Власть – это удержание человека от естественного, удержание от редукции к животному. Удерживать нужно постоянно. Появляются новые чужие – их надо дрессировать, свои оскоптываются – и их надо муштровать. Что такое животное и что нужно побеждать – это исторически подвижное дело. То, что раньше полагалось благородной доблестью – скажем, страстный патриотизм или подчеркнутая мужественность, – может оказаться дисквалифицирующим признаком. Но в этом случае ксенофобы или сексисты оказываются просто новыми чужими.

Форма власти тут не важна, хотя бывает похуже и получше. Но была бы какая-нибудь, а чужие всегда найдутся. Они всегда среди нас, но они не вполне люди – и к ним нужно применять насилие, чтобы привести их в человеческое состояние или же от них избавиться. Для этого нужны границы, правила перехода и надзор.

Отделяя своих от чужих, людей от нелюдей, разум от безумия, сознательное от бессознательного, власть получает исключительное конкурентное преимущество. Она может обратить процесс в свою пользу, более того, ровно это она всегда и делает. Страж у границы естественного и противоестественного получает мзду и за охрану, и за транзит.

Однако нельзя не признать, что самая идея удержания человека на границе от животного имеет экзистенциальный смысл. Этот смысл и создает миф власти.

2. Жрецы

Храм земной

Толкование Торы (Мидраш) гласит: «Земля Израиля находится посреди земли, Иерусалим – в центре земли Израиль, Храм – посреди Иерусалима, Святая Святым – посреди Храма, Ковчег Завета – посреди Святой Святым, а Скала основания, от которой берет начало мироздание, – напротив Святой Святым».

Это сильное переживание пространства, которое нам не дано. Не только потому, что разрушен Храм, но и потому, что разрушен город. Тот Иерусалим, который дошел до нас сегодня, – это римский город, который расположен западнее старого. А изначально это был город-храм, расположенный вдоль церемониальной оси от берега Кедрона к храмовой горе.

В той или иной степени такое понимание храма характерно для большинства цивилизаций древности.

Согласно многочисленным традициям, – пишет Мирча Элиаде, – творение мира началось в центре, а потому строительство города также должно исходить из центра. Ромул вырыл глубокий ров (*fossa*), наполнил его плодами, засыпал землей, сверху устроил алтарь (*ara*), а затем провел плугом линию будущих стен (*designat moenia sulco* [Овидий, Фасты, IV, 821–825]). Ров представлял собой *mundus*, и, как отмечает Плутарх, «этот ров называли миром (*mundus*), как и саму Вселенную» (Ромул, 11). *Mundus* был сферой пересечения, местом встречи трех уровней космоса (Макробий, *Sat.*, I, 16, 18). Возможно, первоначальной моделью Рима был квадрат, вписанный в круг: думать так нас заставляет чрезвычайно широкое распространение взаимосвязанных мотивов круга и квадрата... В самом общем смысле можно утверждать, что данная символика конкретно реализуется в трех взаимосвязанных и дополняющих друг друга комплексах представлений: 1) в центре мира находится «священная Гора», именно там встречаются Небо и Земля; 2) всякий храм или дворец и, шире, любой священный город и любая царская резиденция уподобляются «священной Горе» и таким образом получают статус «центра»; 3) в свою очередь, храм или священный город, через которые проходит *Axis mundi*, рассматривается по этой причине как точка соединения Неба, Земли и Подземного царства.

Мне кажется, мы не совсем отдаем себе отчет в последствиях такой структуры сакрального. Возьмем классический греческий храм. Храмы греческой и римской античности – это, пожалуй, самая разработанная типология архитектуры. Выделяется семь типов прямоугольных храмов и шесть типов портиков плюс два типа ротонд. Каждый тип может существовать в пяти вариантах в зависимости от ширины интерколумния плюс еще один вариант с расширенным центральным интерколумнием. Каждый тип также может существовать в пяти ордерных вариантах. Итого $(7 \times 6 + 2) \times (5 + 1) \times 5 = 1320$. Какой фантастический словарь! Если бы у нас было 1320 смыслов, которые соответствуют этим типам, то это был бы «метафизический разговорник» (языковые разговорники рассчитаны примерно на 1000 слов), посредством которого мы могли бы осмысленно беседовать с богами.

И ничего подобного нет и в помине. Более или менее обобщенно, с массой исключений, удается связать тип ротонды с обозначением женского начала или с темой смерти (что уже никуда не годится в силу противоположности рождения и смерти), а про смысл прямоугольных

храмов в зависимости от типа вообще сказать нечего. Это отсутствие значений у архитектурной формы омрачает душу семиотика самыми черными подозрениями. Человек, знающий 1500 иероглифов, считается в Китае и в Японии элементарно грамотным – здесь люди изобрели систему, сопоставимую с иероглифическим письмом, но отказались писать.

Все дело в том, что писать нечего. Этот тип сакрального не предполагает, что есть некий высший мир, который нужно как-то обозначить в нашей реальности, для чего необходимы 1320 слов. Между этими мирами нет границы, это вообще один и тот же мир. Боги живут повсюду.

«Город-храм» подразумевает не только, что храм – начало города, но и что город – продолжение храма. Город и храм не противопоставлены как профанное и сакральное пространство. В храме происходит некоторая концентрация мира, но в принципе город и храм – это одно и то же. Те 1320 комбинаций, которые предоставляет нам язык ордерной архитектуры, – это не слова, это формальные приемы эстетического упорядочивания мира ввиду божественного присутствия. Поиск красоты пропорций, массы, света и тьмы, композиции, которые соответствуют этому месту и времени появления бога. Так 1320 фасонов платья могут не нести никаких метафизических содержаний, но лишь по-разному окрашивать одно физическое тело.

Оно, разумеется, преобразуется, чаще в нечто совершенное, но не для того, чтобы отделиться от всего остального, а для того, чтобы преобразовать все остальное. Это и есть механизм воздействия сакрального. Этот тип храма хорошо описывает часто цитируемый фрагмент Мартина Хайдеггера из его эссе «Исток художественного творения».

Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя. И такой вид и такой взгляд до тех пор остается разверстым, пока творение остается творением и пока бог не оставил его. То же самое и скульптурное изображение бога, которое посвящает ему победитель игр. Бог изображается не для того, чтобы легче было принять к сведению, как он выглядит; изображение – это творение, которое дает богу пребывать, а потому само есть бог. То же самое и творение слова. В трагедии ничто не выводится и не представляется на сцене, но в ней вершится борьба новых богов против старых богов. Творение языка, воздвигаясь в сказании народа, не повествует об этой борьбе, а так преобразует сказание народа, что всякое существенное слово борется теперь этой борьбой и ставит перед выбором, что свято, а что скверно, что велико, а что мало, что доблестно, а что малодушно, что благородно, а что нестойко, что господин, а что слуга.

Но важно понимать, что это совершенно не тот храм, который мы подразумеваем, про-износя это слово. Он не предполагает Небес. Он стоит на земле и землю же упорядочивает и преобразует.

У Ричарда Краутхаймера, одного из самых знаменитых историков архитектуры XX века, есть книга «Три христианские столицы». Она посвящена Риму, Константинополю и Милану в ранний период их христианского формирования – IV-VII века. В этот момент мы, казалось бы, должны были встретить храмы, трансформирующие города, – христианство становится государственной имперской религией. Ничего подобного не было.

Латеранский собор в Риме, основанный Константином Великим, поставлен на окраине, у городской стены, в совершенно не примечательном ни в градостроительном, ни в религиозном смысле месте. Там даже нет могилы какого-нибудь раннехристианского святого, хотя в Риме таких мест с могилой полно. У территории одно преимущество: она частная, и строительство там храма никого не затрагивает (поразительная логика для императора). Развитие Милана определяется в этот момент ожесточенной борьбой двух партий – ортодоксов (сторонников решений Никейского собора 325 года, утвердившего Символ веры), во главе с епископом святым Амвросием Миланским, и ариан (Миланский собор 355 года отменил решения

Никейского и фактически произвел арианство в официальную религию империи). Никакой концепции целостного формирования города вокруг храма нет ни у той ни у другой. Только в Константинополе, новой императорской столице, Краутхаймер видит признаки воплощения не вполне определенного «идеального града». Но при том что церковь святой Софии Константинопольской осознавалась императором как новый истинный храм, созданный как альтернатива иерусалимскому («Я превзошел тебя, Соломон» – это слова Юстиниана после того, как храм был построен), программа города восходит к римской имперской образности (триумфальная колонна со статуей императора в виде Гелиоса-Христа), а не к идеям града Небесного. Речь идет о столицах, строительство которых было подчинено программе, осуществлявшейся императорами. Но нигде нет мысли согласовать город и храм, храмы оставляют город, никто больше не считает, что весь город – это храм.

Это следствие той революции в понимании сакрального, которую Карл Ясперс называл «осевым временем». Между нами и теми древними цивилизациями, центром которых являлся хайдеггеровский храм, стоит тысячелетие господства мировых религий. И однако мы не относимся к городу-храму как к занятым непонятным особенностям культа Вицлипуцли, напротив, это очень понятная нам идея. Некоторые градостроители считают, что в общем-то так и надо строить города.

Я говорил о символической форме города в терминологии Кевина Линча. Прочитую его.

Эта логика основана на том, что форма любого устойчивого поселения должна быть магической моделью Вселенной. Форма города служит установлению божественной гармонии Космоса, предполагается прямая связь человека с богами, с помощью этой связи человек обретает свое место в структуре мироздания. Боги получают должное, устраняют хаос жизни, а жрецы и правители обретают особое положение в обществе... Эти практики предполагают одни и те же приемы. Среди них центральная ось процессий, круг стен и врата в них, высотные доминанты, сакральный центр, связь значений главных осей с движением солнца или сменой времен года (север = холод, юг = тепло, восток = начало и рождение, запад = смерть и упадок), трактовка регулярной сетки как всеобъемлющего закона построения Вселенной, иерархические композиции, симметрия как выражение полярности и дуализма... Сходство приемов основано на сходстве социальных институтов: повторяющихся религиозных ритуалах, структуре власти, социальной иерархии и т. д. За этим стоят первичные ценности порядка, стабильности, господства и пренебрежение времени, упадка, смерти и случайности.

Линч выделял следующие свойства «сакральных городов»: 1) центральная ось процессий, 2) высотные доминанты, 3) сакральный центр, 4) значимые главные оси, 5) регулярная сетка как закон построения Вселенной, 6) иерархические композиции, 7) симметрия. Это очень похоже на то, что говорит Элиаде о святилищах древности. И одновременно это очень похоже на нечто хорошо нам знакомое. Это основные элементы классического европейского градостроительства. Это язык барочного Рима и классицистического Вашингтона, ампиричного и эклектичного Парижа, сталинской Москвы и гитлеровского Берлина. Это то, что в традиционном градостроительстве называется архитектурным ансамблем. Отличие только в том, что в этих городах-храмах может не быть собственно храмов. Их заменяют другие здания, вроде Дворца Советов или Триумфальной арки в Париже, а может вообще ничего не заменять. Сам город и является храмом, и работает ровно так же, как и хайдеггеровский храм. Он нам ясно показывает, «что господин, а что слуга».

Как это возможно? Как может быть, чтобы цивилизация вернулась к этому архаическому пониманию города? Ведь это не изобретение колеса и не выращивание пшеницы, это не навыки, которые люди не теряют никогда, – напротив, это развитый образный язык, который связан с очень выраженными историческими структурами сознания. И вдруг – через тысячелетие – происходит возрождение города-храма.

Есть разные предположения о том, когда именно умер Бог. Некоторые придерживаются официальной даты смерти – 1883 год, когда Ницше написал «Так говорил Заратустра». Некоторые считают, что это произошло уже в 1802-м, когда Пьер-Симон Лаплас преподнес Наполеону свою «Небесную механику» и на вопрос императора: «А где же здесь Бог?» ответил: «Я не нуждаюсь в этой гипотезе». Кто-то указывает на 1794-й, когда эбертисты (последователи Жака-Рене Эбера) приняли культ Разума в качестве официальной религии революционной Франции. Можно сказать, он долго болел и долго умирал, и знание, что с ним что-то нехорошо, сопровождает европейскую цивилизацию с начала Нового времени. Но так или иначе, после или на фоне его смерти мы сталкиваемся с принципиально новой ситуацией. Бог оставил город. Что делать?

Я хотел бы обратить внимание на одно симпатичное качество архитектуры. Воображение, мистические свидетельства и различные виды искусств живописуют нам ад с увлечением и страстью. Живопись, скульптура, литература, кино нимало не стесняются в этом вопросе и особенно увлекаются темой в ситуации богооставленности. Архитекторы и градостроители тоже могли бы создать весьма впечатляющие образы. Однако город нигде и никогда, насколько мне известно, не создает пространств, которые проектировались бы как ад. Проклятых постфактум пространств полным-полно, а вот построенных специально inferнальных зданий, районов и кварталов я не знаю. Кладбища, которые вполне могли бы представлять именно эту сторону мироздания, соединены со святилищами и не предполагают девиантных форм поведения, которые соответствовали бы сошествию во ад обычного человека с его слабостями. Даже зоны игорных домов или улицы красных фонарей не работают с этой образностью.

Вместо ада строится нечто противоположное. До известной степени это утопическая стратегия. То, что Линч определял как символическую или, в другом месте, «небесную форму города», – это попытка установить на земле порядок небес. Мы вновь сталкиваемся с концепцией города-храма, попыткой обретения сакральных ценностей в самой ткани города. Градостроительство оказывается ритуалом этой сакрализации (а архитекторы – жрецами). Коротко этот процесс можно описать одним предложением.

На смерть Бога жрецы реагируют попыткой построить рай на земле. С точки зрения христианства – это ересь под названием «хилиазм».

Храм небесный

Бог иудеев, христиан и мусульман – один Бог. И при том что храмы их сильно различаются, это три модификации одного и того же устройства. Вернее сказать, три реакции на то, что изначальное изобретение утрачено.

Иудаизм – древнейшая авраамическая религия. Но при этом та религия, которую мы сегодня называем иудаизмом, – это крайне радикальное переосмысление иудаизма библейской древности. И произошло оно в масштабах истории одновременно с явлением Христа, хотя практически чуть позже.

Храм в Иерусалиме был, возможно, наиболее разработанным в теологическом смысле, но все же классическим храмом земным. Великий раввин Моисей Маймонид говорит о Храме: «Следующие вещи являются главными при постройке Храма: делают в нем Кодеш (Святылице) и Кодеш а-Кодашим (Святое Святых), и перед Святылицем должно быть помещение, которое называется Улам; и все вместе называется Хейхал. И возводят ограду вокруг Хейхала, на расстоянии не меньшем, чем то, что было в Скинии; и все, что внутри этой ограды, называется Азара (двор). Все же вместе называется Храм» (Маймонид, Мишне Тора, Законы Храма, 1:5).

Кодеш а-Кодашим – это место земного присутствия Бога. Сила Божья (или Слава Божья – Шехина) или просто Бог физически пребывал там. В 70 году Храм был уничтожен войсками Тита. Это была величайшая политическая катастрофа Израиля. Но помимо того это была катастрофа религиозная. Место пребывания Бога на земле исчезло.

Вывод, который сделал из разрушения Храма иудаизм, следующий: в физической реальности Бога больше нет, он покинул землю. Синагога представляет собой модификацию храма без помещения, где пребывает Бог. Остальные части, и молитвенный зал, и притвор, и двор, имеются, а этого места – нет. Без него храм превращается из сакрального в общественное здание. Связь с Богом – только через текст, Книгу. Текст, причем письменный, записанный, само письмо – становится магическим предметом, отсюда сакральное значение свитков Торы, мезузы (пергамент с текстом молитвы у входа в дом), тфилин (коробочки, содержащие пергаменты с отрывками из Торы, которые являются элементом молитвенного облачения), записок, которые вкладываются в Стену Плача (хотя это – совсем поздняя традиция).

Христиане решили проблему иначе. Примерно тогда же, когда войска Тита уничтожали Иерусалим, апостол Иоанн находился в ссылке на острове Патмос. Там ему открылась картина еще более ужасной катастрофы, чем разрушение Храма, – ее описание составило Апокалипсис. Но, помимо бедствий, он увидел и Небесный Иерусалим, где пребывает Господь. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба... Он имеет славу Божию... Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот... Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его...» (Откр. 21).

Бог больше не пребывает на земле, здесь христиане согласны с иудаизмом. Он находится на небесах, в Небесном Иерусалиме. Однако же это не означает, что с ним больше нельзя вступить в контакт. Он послал на землю сына. Сын заключил Новый Завет. И он создал церковь Христову, и когда члены церкви собираются вместе, он оказывается среди них – «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Христианский храм представляет собой устройство для связи с отсутствующим на земле Богом. Это модификация ветхозаветного Храма, но вместо Святого Святых появляется алтарь, своего рода портал на небеса.

Мусульман эта идея смутила, поскольку сама идея Бога Сына нарушала, с точки зрения Мухаммеда, принцип единобожия. Мечеть устроена иначе. Принципиальная схема включает в себя двор, притвор, молитвенный зал – и все. Помещение, где пребывает слава Божия, отсут-

ствуется, как и в синагоге. Однако на стене молитвенного зала находится михраб, он обозначает путь в Мекку, к Каабе. Это прямоугольное строение во дворе мечети аль-Харам, построенное Авраамом (Ибрахимом в мусульманской традиции) непосредственно под руководством Бога. В основании – краеугольный камень, который передал Аврааму архангел Гавриил, над ним Авраам соорудил полог, создав прообраз храма.

Это, так сказать, святая святых всех мечетей. В исламе получается множество молитвенных залов, соединенных с единственным пространством, где пребывает слава Божия. Но это пространство есть, и оно есть на земле, в физическом пространстве. Это вход на небеса («Ключи от Рая» – один из эпитетов Каабы).

Все три типа храма выстроены на разрыве между нашей реальностью и той, в которой пребывает Бог. Мир разделился надвое, и трещина прошла через храм. В иудаизме граница между ними непреодолима, в христианстве не преодолима физически, в исламе это физическая граница, определяемая расстоянием до Мекки и запретом входить внутрь Каабы. Так или иначе наличие двух миров провоцирует возникновение семиотической логики, где в физическом мире появляются знаки того, что есть в метафизическом. Храм небесный, в отличие от храма земного, – это не инструмент преобразования физического пространства, но пространственный текст, повествующий о Небесах.

Однако это текст особого рода.

Существует весьма уважаемая академическая традиция изучения семиотики народного жилища – славянского, бурятского, монгольского, калмыцкого и т. д. Знаки там повсюду – от конька кровли до красного угла. Коромысла, прялки, веялки – все символично, высшие силы на каждом шагу. Можно составлять бесконечные словари символов. Но это бесконечно далеко от городского пространства. В отношении символов в авраамических религиях все гораздо сложнее.

Среди специалистов по сакральной архитектуре нет более болезненной темы, чем символ. Шариф Шукуров, исследователь исламской архитектуры, показывает, как строится семантика мечети. Любая мечеть восходит к первоначальной мечети Пророка в Медине, то есть к его дому. Вместе с тем она соотносится с утраченным Храмом Иерусалима. Вместе с тем она отсылает и к раю как граду небесному, и к раю как небесному саду. При этом перед нами ни в коем случае не символы. Мечеть не символизирует дом пророка, храм или рай, а как бы является его преобразованием. То есть это не обозначение рая, а сам рай, который, однако, и отсылает к раю на Небесах. Это трудно понять, и в самой трудности содержится некое очарование исламской сакральности.

Гансу Зедльмайру, великому историку искусства XX века, принадлежит самый глубокий, на мой взгляд, анализ готической архитектуры. Он показывает, в частности, как готический собор связан с образом Небесного Иерусалима в видении Иоанна. «Стена из ясписа, чистое золото, подобное чистому стеклу» – стены небесного града – превратились в готические витражи, прозрачные драгоценные камни. Однако же Зедльмайр настойчиво подчеркивает, что собор – никак не символ града небесного, но в некотором смысле его отпечаток, отображение (Abbild). «Этот „отобразительный“ смысл, в отличие от символики... обладает формообразующей силой... Гештальт этих построек – рассмотренный чисто архитектурно – обладает чем-то фантастическим, иррациональным». Это тоже трудно понять.

Храм как устройство – это парадоксальный феномен незнакового обозначения. Я бы сказал, в семиотической перспективе это звучит довольно дико. Но вряд ли уместно здесь излагать теорию знаков и пытаться вписать в нее такой тип означиваний. Тем не менее скажу, что:

– в обычных знаковых системах то, как знак выглядит, не связано с тем, что он значит. В сакральной архитектуре, напротив, форма является отображением смысла, синекдохой или метонимией первообраза, форма всячески стремится явить собой смысл;

– символы нельзя читать, и сама попытка так с ними поступать есть поведение предосудительное; понимание смысла символа – не автоматический процесс, сравнимый с чтением знаков какого-либо кода; столкнувшись с символом, человек может его не понять вообще, понять частично; понимание символа во всей его глубине и полноте – это вообще таинство;

– смысл символа носит размытый характер; это скорее семантическое поле, чем определенное значение; мечеть отсылает к храму, храм к Скинии, Скиния к Каабе, Кааба к раю, рай к Саду, Сад к Небесному Иерусалиму и т. д.

Это, прямо скажем, довольно несовершенная семиотическая система, если считать, что ее целью является что-нибудь кому-нибудь сообщить. Но цель может быть иной. Это нужно понять в перспективе разрушения Храма. Храм содержал в себе силу Бога и находился в нашем физическом пространстве. Он разрушен, Бог ушел на небеса. Символ – это попытка преодолеть разрушение храма.

Символ – это волшебная палочка, разломанная на означающее и означаемое. Он может отказаться символизировать, не сработать. Он может сработать неправильно. Он может работать непостоянно. Нарушение знакового механизма – это не помеха в коммуникации. Это само по себе знак, и смысл его в том, что храм разрушен. Это нарушенная коммуникация, которую нужно все время восстанавливать. Восстановление – обязанность жрецов.

Памятник архитектуры

Из городских тем сохранение памятников – единственный предмет всеобщего интереса. Как всегда в таких случаях, в этом вопросе все ощущают причастность (и поэтому здесь трудно достичь согласия). Памятник более или менее принадлежит всем тем лицам, которые неравнодушны в отношении его ценности. Круг этих лиц формально не ограничен, в него можно войти и из него можно выпасть.

Для присутствия в кругу следует соблюдать следующие правила. Памятника нельзя касаться, и требуется отгонять всех пытающихся. Нельзя также касаться земли рядом с ним с любыми строительными целями. Любые попытки адаптации здания к современности – реконструкция, достройка, ремонт, восстановление – рассматриваются как преступление. Признается возможной только реставрация, но и она всегда под подозрением, и настоящие ценители часто со сдержанной скорбью говорят нам, что то или иное здание «зареставрировано» до смерти. Можно, однако, бороться за устройство парка вокруг памятника. Нельзя перекрывать виды на него из мест, откуда он может быть виден в ясную хорошую погоду. Растения, посаженные у памятника, также не должны перекрывать виды на него. Но рубить те, которые уже перекрыли, также нельзя. Некоторые деревья приравниваются в ценности к памятникам. Около памятника можно говорить вслух, но некоторые высказывания могут быть объявлены еретическими.

Я бы сказал, тут ощущается привкус великой формулы Тертуллиана «верую ибо абсурдно». Это культ, и это поздний культ.

Павсаний рассказывает нам, что в храме Геры в Олимпии (во II веке) некоторые колонны были мраморными, а некоторые еще деревянными, и деревянные колонны постепенно заменялись на каменные на пожертвования. Это важная история в рамках школьного повествования о происхождении классического ордера из деревянных столбов. Такая замена сегодня должна рассматриваться как пример вопиющей дикости: деревянные колонны следовало сохранять, вместо этого памятник был фальсифицирован для удовлетворения тщеславия частных лиц или общин. В наших условиях ордер никогда бы не произошел. До конца XIX века идея перестройки, реконструкции, восстановления утраченного здания не вызывала особых возражений: Эжен Виолле-ле-Дюк достраивал и Каркассон, и собор Парижской Богоматери, и Амьен под общие европейские аплодисменты (Джон Рескин, осуждавший это, составлял редкое исключение). Однако начиная с 1920-х ситуация меняется, и, мне кажется, дело не только в результатах Первой мировой войны, уничтожившей массу памятников.

То, что памятники архитектуры и культуры, да и просто старые дома, память об авторах и обитателях которых истерлась, представляют собой безусловную ценность, настолько самоочевидно, что мы не отдаем себе отчета, насколько уникальна эта система оценки. Но это таинственно. Столетний рояль, старая одежда, старый телефон, старая идея, старая научная работа и т. д. ценятся определенно меньше, чем новые. Есть, конечно, рынки антиквариата, но они в сущности ничтожны по сравнению с рынками современного потребления. Сравните антиквариат хотя бы только с рынками визуальной культуры в целом (а это крошечная часть потребления) – стоимость боевика категории «В» принципиально выше, чем стоимость полотна Малевича, и это никого не удивляет, это в порядке вещей.

Мне кажется, для того чтобы понять современный статус памятника архитектуры, следует обратиться к культу мощей.

Мощи отчасти функционируют подобно иконам. Святой может действовать через свои останки – излечивать, охранять, даровать победу, через мощи можно вступать в коммуникацию с высшим миром. Физические останки – это портал в метафизическое пространство, так же как и иконы. Но у мощей есть отличия. Они ограничены количественно, и они связаны со смертью.

Икона – это не изображение святого, а его явление на границе реальности и сверхреальности (это классическая теология иконы), но таких явлений может быть сколько угодно. Святой Николай является верующим в каждой освященной иконе святого Николая. С мощами иначе – их количество конечно. Вопрос о том, какой набор мощей святого Николая настоящий – в Бари (куда их перевезли в 1087 году барийские купцы, что признается русской православной церковью), в Мирах Ликийских (где покоятся настоящие останки святого Николая, в то время как барийцы украли по ошибке посторонний скелет, что утверждает греческая православная церковь) или в Венеции (куда после 1096 года попали некоторые останки из той же церкви в Мирах, что признается и католиками, и православными), – является существенным. Некоторые из костей, возможно, не настоящие. Хотя провести проверку не представляется возможным, важно, что мощи предполагают ценность подлинности.

Ценность памятников архитектуры устроена по этому образцу. Это сложное явление, к культу подлинности прошлого здесь подмешано более раннее ренессансное понимание памятника как произведения античности, являющегося эстетическим образцом. Однако сегодня обсуждать качество памятника исходя из его эстетических достоинств полагается недопустимым. Важно не то, насколько он прекрасен, а то, что он подлинный. Более того, его некоторое несовершенство, и в особенности разрушенность, руинированность, как раз и составляет его ценность – если памятники не слишком руинированы, их обдирают от штукатурки для создания большего эффекта.

Ганс Зедльмайр, которого я упоминал в связи с архитектурой готики, прославился не столько своей фундаментальной книгой «Возникновение собора», а другой, которая называется «Утрата середины». Под «серединой» понимается Бог или, точнее, связь человека и Бога. Соответственно речь идет о цивилизации после или на фоне смерти Бога. Я уже упоминал об этом в связи с возникновением архитектурного хилиазма и возрождением концепции город-храм в новоевропейском градостроительстве.

Книга Зедльмайра основана на идее субститутов храма (он называет их *Gesamtkunstwerk*'ами, используя термин Рихарда Вагнера), которые были призваны его заменить, когда Бог умер. Задача сама по себе не лишена парадоксальности. Если Бога нет и на небесах, то что вообще может заменить храм? Нужно найти сакральность в чем-то другом, не то что не связанном с Богом, но связанном с ним настолько неочевидным образом, чтобы известие о его смерти ее не подорвало (или по крайней мере подорвало не сразу). В истории европейской цивилизации XVIII–XX веков Ганс Зедльмайр выделил семь субститутов храма: пейзажный парк, архитектурный монумент, музей, буржуазное жилище, театр, всемирная выставка, фабрика (дом для машины). Замечу, что жрецы иногда занимаются возгонкой ценностей других каст до метафизического статуса: из этих семи «дом для машины» – это возгонка ценностей рабочих, всемирная выставка – торговцев, и, наконец, буржуазное жилище не является ценностью ни одной касты, а просто жителей, которых касты оставили своими заботами. Но так или иначе все это новые культы, и первый из них – пейзажный парк.

У нас есть великая книга русского ученого и просветителя Дмитрия Лихачева «Поэзия садов». Парк – это образ рая. Храм – это тоже образ рая (и в этом смысле указание Зедльмайра на то, что парк есть субститут храма, глубоко справедливо). Отличия в том, что в европейском парке, о чем справедливо и подробно писал Лихачев, рай понимается больше как Аркадия, чем как Эдем. Парк активнейшим образом использует античную мифологию. Впрочем, использование античных реминисценций более чем характерно и для христианской храмовой иконографии Нового времени (да и средневековья, хотя совсем по-другому). Я бы хотел обратить внимание на другую особенность парка-храма.

За примерно столетие он развивается от регулярного французского к живописному английскому. Французский парк – это явленная нам гармония совершенства, царство платоновской геометрии. В некотором смысле это «храм земной», что и понятно, если иметь в виду,

что в Версале, образце всех регулярных парков европейских монархий, присутствует живой Бог – «король-солнце». Есть много изящных доказательств того, что и пейзажный английский парк – это образ гармонии мира, только это иная гармония. Я, однако, склонен думать, что это образ гармонии утраченной или, скорее, утрачиваемой у нас на глазах. Доказательством этого, на мой взгляд, является то, что в пейзажных парках возникает культ архитектурных руин.

Руины, разумеется, появились раньше пейзажных парков. Европа была наполнена римскими руинами вплоть до XIX века, а азиатское средиземноморье наполнено ими до сих пор. Руина в барокко и классицизме – это классический атрибут жанра «memento mori», «помни о смерти», назидательных христианских изображений-проповедей, призывающих зрителя думать о тщете всего сущего. Руина – это распространенный тип новоевропейского надгробия. Однако в пейзажных парках руины начинают возводиться заново, искусственно. Это указание на то, что у данного места есть история и в прошлом оно выглядело совсем иначе.

Я бы сказал, указание, что рай потерян. Руина – это тот же христианский символ, разломанная на части волшебная палочка. В этом смысле можно сказать, что за столетие своего активного развития парк проходит эволюцию от храма земного к храму небесному, повторяя тысячелетнюю эволюцию храма, и сама скоропалительность этой эволюции доказывает справедливость мысли Зедльмайра о парке как субституте храма – субститутам не свойственна долгая жизнь.

Архитектурная руина – это промежуточное звено между мощами и памятниками архитектуры. В ней еще сохраняется тема смерти. Вместе с тем руина создает формат ценности памятника архитектуры, красоту пластического несовершенства, случайности формы, превосходства этики над формой. По отношению к парковой руине задача ее починить, достроить, восстановить, приспособить под новое использование является не просто абсурдной, а кощунственной – она образ потерянного рая, а не требующая ремонта недвижимость.

Весь этот комплекс смыслов и унаследован памятниками. При этом руина в городе – это триггер архитектурного воображения, она запускает мысленную реконструкцию. Глядя на то, что осталось, мы воображаем себе целое. Город с руинами содержит в себе пласт своих воображаемых реконструкций, иногда, как, скажем, в случае римских форумов, документированный тысячами рисунков, иногда остающийся лишь в воображении людей. В каком-то смысле Рим Пиранези не существует и никогда не существовал в реальности, в другом – реальность Рима постоянно содержит в себе пласт фантазий Пиранези. Руины – это элементарное указание на существование иного мира.

Сведем это вместе. Памятники вобрали в себя аксиологию руин, прежде всего тех, которые были важнейшим элементом языка пейзажного парка. Сам парк был субститутутом храма, своего рода ответом на смерть Бога.

В формуле Ницше «Бог умер» есть некий не вполне очевидный смысл. Его как-то заслоняет неприятие этой смерти, вера в его бессмертие, в то, что Бог вне времени и существует вечно. Но «Бог умер» не равно «Бога нет». Тут содержится не только сообщение об этой катастрофической утрате, но и другое – указание на то, что раньше он жил. И если он жил, а умер только теперь, то прошлое – это своего рода Скиния. В нем сила Божья присутствовала.

А теперь он умер. Отсюда любые останки, дошедшие до нас из прошлого, оказываются искомой половиной разломанной волшебной палочки. Ухватываясь за нее, мы можем реконструировать картину целого подобно тому, как по руине реконструируем оставившую ее постройку. И тем самым оказаться в мире, где Бог. Если считать, что Бога убил прогресс, то можно сказать, что прогресс необыкновенно расширил сферу сакрального в прошлом. Повсюду, везде, в каждом месте, в каждом каретном сарае только что, совсем недавно был Бог. Там теперь просто нет точки, где бы его не было. Все прошлое превратилось в огромное пространство иерофании.

Гений

Позволю себе обширную цитату из лекции Фрэнка Тернера «Культ художника».

В последней четверти XVIII века и первой четверти XIX века идея воображения и гения претерпела качественные изменения. Основа для новой эстетики была заложена писателями прошлого, но именно в эти годы произошла глубокая трансформация. И как многие другие перемены того времени, эта трансформация произошла на основе философии Канта... Кант делил человеческий разум на понимание и здравый смысл. Понимание обращено к чувственному человеческому опыту, феноменальному миру. Здравый же смысл обращен к миру ноуменальному, или трансцендентальному. Кант также писал о существовании ноуменального мира, недоступного чувствам, и называл его «вещью в себе». Два поколения немецких философов после Канта пытались найти выходы из той тюрьмы, в которую заключила их его философия. Они считали, что он оставил их в таком положении, в котором человеческая природа и природа физическая безнадежно разделены и отделены друг от друга... Фихте выдвинул идею активного эго (Ich), которое создает собственный мир... А в центре эго находится воображение... Именно воображение соединяет «я» и «не-я»... Воображение выходит за рамки чувственного опыта и является позитивно творческим... Фридрих Шеллинг развил эту концепцию... Сначала Шеллинг объединил эти миры, создав вселенную, которая включала в себя людей как творения воображения Бога. В свою очередь, человеческое воображение, как и воображение Божественное, является творческим. Шеллинг писал: «Божественное творчество объективно выявляется через искусство».

Все эти построения так или иначе утверждают, что с Богом можно связаться через произведение искусства гениального художника. В том числе – через гениальное произведение архитектуры. Каждое здание, отмеченное печатью гения, в таком понимании оказывается актом иерофании и может заменить собой храм. Это очень удачное решение в условиях, когда другие институты связи не работают. Художник оказывается жрецом, пророком в древнем смысле этого слова. Но, в отличие от жреца, гений в европейском романтическом культе слабо формализован. Общепринятой процедуры производства в сан гения так и не было выработано. Понять, кто гений, сложно.

Конечно, гениев в истории XIX века в силу этой специфической нужды в них было гораздо больше, чем сегодня. У них были особые качества, которые легко считывались. Джон Рескин так описывал Уильяма Тернера: «Для него нет законов. Он отвергает все ограничения и сносит все ограды... Его странствие заканчивается нехоженой и непроторенной болью. Ничто не может его остановить, ничто не может сбить с пути. Ястребы и рыси представляют собой жалкое и медлительное зрелище в сравнении с ним».

Такое, конечно, встретишь – не перепутаешь. И сам я среди музыкантов, художников и архитекторов неоднократно встречал людей с таким рисунком поведения. Но тут приходится полагаться не на формальный чин «гения», а лишь на интуицию и общественное признание, и это не очень надежно. Это приводит к появлению «ложных» гениев, способность которых достучаться до небес признана одними и не признана другими, и «непризнанных гениев», которых оценивают только посмертно. Неизвестно, что хуже.

Выходом из этой неудовлетворительной ситуации является формат произведения, в котором качество гениальности будет проявлено более или менее гарантированным образом. Для

того чтобы получить гениальное здание, нужно и проектировать его как гениальное, и потом так же и строить, а это большие издержки.

Вновь вернусь к Гансу Зедльмайру. Вторым субститутом храма (после парка) в его понимании является «архитектонический монумент». Памятник в виде архитектуры, а не скульптуры. Это здание ради здания, здание, предназначение которого – содержать и предъявлять миру собственную архитектуру. Иначе говоря, здание без функции или здание, функция которого не особенно важна, а важно другое.

Зедльмайр считал первыми примерами «архитектонических монументов» французских бумажных архитекторов Клода-Николя Леду (проект города Шо) и Этьена-Луи Булле (проект кенотафа Ньютона). Эти архитекторы переопределили развитие школы французской Академии *École des Beaux-Arts* (прежде всего поэтику проектов на премию *Grand-Prix de Rome*), которая на рубеже XVIII-XIX веков распространила свое влияние от Неаполя до Петербурга. Эта традиция (архитектура ампира) достаточно специфична. Однако то, что последовало дальше, – эпоха эклектики, историзм – ничуть не отменяет сам жанр «архитектонического монумента», и эту тему вплоть до сегодняшнего дня никак нельзя считать исчерпанной. Британский Парламент и музеи королевы Виктории в Лондоне, Новый Хофбург в Вене, Гранд-опера в Париже, Витториано в Риме – ничуть не в меньшей степени архитектурные монументы, чем грандиозные видения эпохи ампира. Равно как башня Третьего Интернационала, Сиднейская опера или музей в Бильбао. Всё это именно новые храмы, где художественный гений заменяет собой традиционную сакральность.

Я бы сказал, сама презумпция гениальности переопределяет статус архитектора. Архитектор в понимании романтической и постромантической традиции – тот, кто создает такие здания. Правда, речь идет именно о переопределении. В традиционных городах основная масса застройки не создавалась архитекторами – это делали строители, подрядчики, делали по образцу и по обычаю. Архитектор появлялся тогда, когда возникала уникальная задача. В новой парадигме это было формализовано, возникло деление на «архитекторов» и «проектировщиков» и, соответственно, на уникальную и фоновую застройку. Архитекторы – это институционализованные гении. Как правило, они и занимаются уникальными зданиями, но в силу своего статуса субститута пророка могут обращаться к любым сюжетам, в том числе и к массовой застройке. Это нечто вроде идеи Франциска Ассизского проповедовать птицам – и в том и в другом случае результаты спорны.

Проектировщики – все остальные, и именно поэтому от целых исторических периодов у нас остается не более двадцати имен архитекторов из тысяч людей, работающих по специальности. Сколько архитекторов авангарда мы знаем? ВХУТЕМАС ведь выпустил несколько тысяч. И это вовсе не история выбрала лучших. Их выбрали с самого начала, еще при жизни, они делали выставки, они печатались в журналах, про них писали книги, и их здания включали в путеводители. Все это – элементы института «гения», который работает, разумеется, не безотносительно к одаренности архитектора, но все же сравнительно автономно. Возможны совершенно бездарные гении, например Константин Тон.

В поисках новой сакральности гении пошли двумя путями, связанными со спецификой иерофании.

Первый – это восстановление сакрального ритуала. У Юрия Лотмана есть замечательное определение: символ есть знак, сохраняющий память своих употреблений. Примерно о том же пишет Мирча Элиаде: если некое место оказалось отмечено явлением там божества, то задача ритуала – постоянное и скрупулезное воссоздание обстоятельств иерофании, поскольку вживание в эти обстоятельства дает надежду, что иерофания произойдет вновь. Повторение – мать сакральности. На этой логике основаны волны неостилий в эклектике XIX века, по крайней мере неоготики и неоклассики.

Обращение к истории – это вовсе не только и не столько взятые напрокат найденные готовые формы, это попытка использовать древние формулы заклинаний для того, чтобы восстановить уже найденный путь в метафизическое пространство. Это нечто родственное произнесению молитвы в новых пространственных обстоятельствах, и поэтому главным вопросом оказывается поиск самого канонического текста. При прочих равных эту конкуренцию выигрывает самый древний. Как историк архитектуры я занимался архитектурой неоклассицизма начала XX века. Развитие этого архитектурного направления идет по пути последовательной архаизации. Неоклассика начинается как возвращение к архитектуре эпохи ампира и классицизма, далее следует обращение к архитектуре Ренессанса, за ним возникают римские и греческие образцы. Эксперименты неоклассицизма уже в период революции ведут от классики эпохи Перикла к греческой архаике («красная дорика» Ивана Фомина) и далее – к мавзолею Алексея Щусева, к зиккурату. Это интересная точка. От зиккурата в одну сторону один шаг до Каабы или до Скинии Завета, а в другую – до «Черного квадрата» Малевича. Начав с поисков «правильного ритуала», неоклассика последовательно искала все более и более древние формы, пока не дошла до собственно магического объекта – первоформы.

Ганс Зедльмайр заинтересовался Булле и Леду из-за исследований историка архитектуры Эмиля Кауфманна. Именно Кауфманн ввел этот материал в научный оборот. Первая книга Кауфманна, которая так заинтересовала Зедльмайра, называлась «От Леду до Ле Корбюзье». Леду вдохновлялся грандиозными видениями Рима в образах Пиранези, но двинулся от них к поиску первоформ, из которых выросло это барочное великолепие, и пришел к формам, близким к авангарду Корбюзье. Это примерно та же канва, которая организует развитие неоклассики начала XX века, – от вживания в прообраз к поиску первообраза.

Поиск первоформ – это и есть второй путь жрецов от архитектуры по созданию сакрального объекта. Можно не изучать тонкостей древнего ритуала и не вживаться в него. Можно призвать Бога в первый раз, так, будто до тебя никаких актов иерофании еще не случилось. Твой зов будет синонимичен зову, с которого все началось, и игнорировать всю дальнейшую традицию как ошибку. Может, тогда и Бог не умрет, поскольку еще не родился.

Нет более невоздержанного архитектурного спора, чем тот, который идет между поклонниками авангарда и историзма. Осмысление этой проблемы в терминах традиции и новаторства не имеет, на мой взгляд, особого смысла. Легко показать, насколько копийной является авангардная традиция и насколько изобретательной классическая, можно показать и обратное. Но если это жречество, если это вопрос об обретении Бога, тогда путь повторения молитв или создания нового магического объекта – это два разных извода одной религии, своего рода Ветхий и Новый Завет архитектурного гения. Борьба между ними столь же бессмысленна, сколь и неизбежна.

В России не слишком принято свободное архитектурное философствование. Один из редких и самых ярких ныне живущих представителей этого рода деятельности – Александр Гербертович Раппопорт. Он осуществляет уникальный личный проект, заполняя тысячи страниц своего блога «Башня и лабиринт» не вполне упорядоченными рефлексиями на архитектурные темы. Это грандиозный, хотя и несколько неформатный труд. Я процитирую фрагмент его размышлений.

Культы архитектуры 3 тысячелетия

На мой взгляд, радикальный поворот архитектуры

Третьего тысячелетия будет состоять в том, что архитектура перестанет ограничиваться оформлением разного рода культовых практик прошлого – от первобытных обрядов до бытовых и политических культов XX века, но сама станет автономной сферой культовых практик...

Для начала, чтобы не углубляться в еще не построенную теорию такого рода практик, я бы наугад назвал некоторые, чтобы дать более наглядное представление о том, что я имею в виду.

Культ множества водоемов – от родников до океанов

Культ неба и облаков

Культ отдельных растений и их систем

Культ тишины

Культ ритмов

Культы движения и покоя

Культ начал и финалов (в том числе во временах суток и года)

Культ вертикалей и горизонталей

Культ кривых и прямых поверхностей и линий

Культ цвета и колорита

Культ света и темноты

Культ одиночества и общения в компании друзей и врагов

Культ материалов и субстанций – камня, воды, песка, глины, дерева, стекла и пр.

Культ одушевленных и неодушевленных элементов ландшафта

Культ бесконечности и космоса

Культ рождения, смерти и всех промежуточных возрастов

Культ фактур и тактильных ощущений и пр.

При всем возможном скепсисе человек, причастный архитектуре, не может не ощущать привкуса истины в этом восторженном гимне. На мой взгляд, правда, все это не разные культы, а ритуалы одного культа – Бога единого, властителя начал и финалов и вертикалей с горизонталями. Но дело не в терминах. Как видите, представление об архитекторе-пророке и архитектуре-молитве – это не только история романтических представлений, о которых говорят Тернер и Зедльмайр. Это вполне актуальная стратегия сегодняшнего дня, которая даже не очень задается вопросом о том, откуда она возникает.

Театр

Витрувий, автор единственного трактата по архитектуре, который оставила античность, говорит, что в театре может быть три вида сцен:

Во-первых, так называемые трагические, во-вторых, комические, в-третьих, сатирические. Декорации их не сходны и разнородны: трагические изображают колонны, фронтоны, статуи и прочие царственные предметы; комические же представляют частные здания, балконы и изображения ряда окон, в подражание тому, как бывает в обыкновенных домах; а сатирические украшаются деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа.

Театр представляет собой довольно парадоксальное здание, которое внутри себя содержит весь город сразу, и даже с пригородами, – и торжественные проспекты, и рядовые улицы, и сельские пейзажи.

Европейский город и происходит из этого витрувианского театра. При этом время от времени возникает неизбежная путаница, и в субурбии происходят настоящие драмы, а поведение сильных мира сего приобретает комические черты. Однако в смысле декораций уподобление города театру более последовательно.

Себастьяно Серлио в трактате об архитектуре, который он писал в Венеции в 1520-е годы, напечатал свои рисунки этих трех витрувианских сцен. В это время Якопо Сансовино реконструировал площадь Сан-Марко, и она с тех пор более или менее и выглядит так, как он ее задумал. В свое время американский историк архитектуры Джон Онианс предположил, что Сансовино сравнительно точно воспроизвел «трагическую сцену» Серлио. Вероятно, каждому, кто проводил время на этой площади, знакомо ощущение участника массовой театральной представления – так вот не зря.

Связи ренессансной архитектуры с театром – более или менее классическая тема для историков архитектуры. Но, разумеется, число этих связей ничтожно по сравнению с градостроительством эпохи барокко, где едва ли не каждый городской ансамбль решался как театральная сцена.

Есть отдельная большая литература о роли театра в эпоху Великой французской революции, герои которого ведут себя по лекалам Корнеля и Расина. Эту тему любил Юрий Михайлович Лотман, доказывавший, что искусство не столько отражает жизнь, сколько ее моделирует. Самый известный иллюстративный образ театра эпохи великой революции – проект театра в Безансоне Клода-Николя Леду, где сцена вписана в гигантское всевидящее Око, которое, таким образом, смотрит в зал (это Око потом смешно отозвалось в «Великом Гэтсби» Фицджеральда, где гигантский глаз в пустыне является офтальмологической рекламой). Театр здесь оказывается своего рода лабораторией Ока, проигрывающего разные модели мироздания.

Столетие спустя целая эпоха в архитектуре Парижа, время Наполеона III и барона Османа, получит имя «стиль *Grand Opera*».

Ну и среди историков русского авангарда более или менее общепринятым является тезис о том, что первоначально новая архитектура была опробована на сцене, прежде всего в постановке Александра Таирова честертоновского «Человека, который был Четвергом», декорации к которому делал будущий классик конструктивизма Александр Веснин.

Так что театр – это спорадическая репетиция революции, как минимум урбанистической, но, может, и шире. Возможно, с этим связаны некоторые проблемы российского театра сегодня.

Откуда такое фантастическое изобретение? Почему, собственно, городу понадобилось отдельное здание, внутри которого постоянно проигрывается драма города?

В истории театральной архитектуры мы обычно находим более или менее яркий рассказ о театре античном, а далее – сразу о театрах XVII века. Не то чтобы в промежутке Средних веков театр не существовал, но он существовал иначе. В развитом средневековье, с XII века и дальше, мы встречаемся с грандиозными постановками на темы прежде всего евангельских сюжетов, которые сопровождают церковные праздники. Однако местом их действия был весь город. Жители оказывались в промежуточной позиции между зрителями и актерами – они и смотрят действие, и участвуют в нем. В том случае, когда речь идет о последовательной фабуле – например, страстях Христовых, – каждая сцена проходит в своем месте. «Тайная вечеря», «Христос перед Пилатом», «Бичевание» – это отдельные павильоны (иногда телеги), и когда заканчивается одна сцена, то зрители переходят к другой, как по улице от одного дома к другому. Сценой является иногда площадь перед собором, иногда улица, где лавки становятся сценами. Это немного похоже на сегодняшние трансформации сцены в последовательность комнат – как в «Sleep No More» Барретта и Дойла.

Помимо мистерий, город был наполнен иными театральными или, скорее, зрелищными событиями, прежде всего торговыми ярмарками, которые редко обходятся без странствующих актеров или кукольного театра. Добавим сюда карнавал. Добавим сюда то, что великий историк средневековья Йохан Хейзинга называл «яркостью и остротой жизни», когда любой выезд сеньора, конфликт гордых рыцарей, шествие цехов, появление глашатаев, церковного иерарха или странствующих проповедников превращались в театральное представление. Город был наполнен театром, он весь представлял собой сцену – и драма, и комедия, и даже сатурналии могли происходить более или менее везде.

До известной степени это ощущение театральности присуще и современному городу, по крайней мере начиная со знаменитого пассажа Джейн Джекобс о «балете улиц».

Хотя это жизнь, а не искусство, хочется все же назвать его одной из форм городского искусства. Напрашивается причудливое сравнение его с танцем – не с бесхитрым синхронным танцем, когда все вскидывают ногу в один и тот же момент, вращаются одновременно и кланяются скопом, а с изощренным балетом, в котором все танцоры и ансамбли имеют свои особые роли, неким чудесным образом подкрепляющие друг друга и складывающиеся в упорядоченное целое. На хорошем городском тротуаре этот балет всегда неодинаков от места к месту, и на каждом данном участке он непременно изобилует импровизациями.

Но по сравнению с настоящим театром этому присуще известное мелкотемье. Настоящие драмы, комедии и сатиры проходят в театре, а на улицах остается самодеятельное охвостье: дети ездят в колясках, торговцы открывают лавки, горожане, дожившие до пенсионного возраста, воркуют на лавочках.

С урбанистической точки зрения самое интересное в театре – как раз эта миграция города в здание. Она произошла более или менее случайно и уж никак не с целью создать специальное городское приспособление для того, чтобы «удвоить» город и в реальном городе иметь его образ. Первые театры Ренессанса и барокко создавались глубоко аристократическими заказчиками и их друзьями, учеными гуманистами, для того чтобы «восстановить» античную драму, дошедшую в текстах, но не в реальном обиходе, и создать новую по образцу античной.

Но при всей исключительности европейского театра как культурной институции можно заметить, что это перемещение города в одно здание происходило не только с ним. Вначале была городская площадь и улицы вокруг. И на этих улицах располагались мастерские ремесленников, где во дворах работали кузнецы и горшечники, булочники и портные и прочие, прочие. И на этой площади торговали и ели, танцевали и обсуждали городские дела, выступали жонглеры, проповедники и мэры. Постепенно каждая из этих функций созревала до того

состояния, что срывалась из города и уходила в отдельное здание. Вместо мастерских появились фабрики. Вместо обсуждения дел на площади возникли парламенты, вместо еды на площади – рестораны, вместо торговли – универмаги. Последним, кстати, уже более или менее на нашей памяти, с площади удалился и закуклился в отдельное здание цирк, а на подходе – здания для митингов и демонстраций.

Но театр был первым таким экспериментом.

Театральными зданиями принято восхищаться, это важная городская достопримечательность, а в силу того что там происходит внутри, иногда – и общенациональное достояние. Но если присмотреться к нему, то это вообще-то на редкость несуразное здание. Поэтому каждый конкурс на реконструкцию театра или на строительство нового оборачивается бесконечным тягомотным унижением всех участников процесса, начиная от главного режиссера, дирижера или директора, который влюблен в свою мечту и никак не может понять, отчего архитекторы рисуют ему такую мерзость, и кончая архитектором, который пытается создать более или менее гармоничный образ для абсурдного процесса.

Театральное здание устроено как верблюд-дромадер – во второй трети его всегда высится горб сценической коробки. Это место, где находятся декорации, которые надо опускать и поднимать, чтобы менять сцены. Минимально оно в полтора раза выше, чем само здание театра, а бывает и в два с половиной. В сегодняшних театрах, где приняты объемные декорации, их уже не только поднимают вверх, но сдвигают вбок, так что рядом с основной сценической коробкой возникают по две запасных – это как разожравшийся верблюд-дромадер, у которого расперло бока. Горб и бока театра – это, собственно, и есть хранилище виртуальных образов города, коробки для хранения идеалов и утопий, откуда их, протерев пыль, достают на время, чтобы прожить на сцене.

Зрительный зал мал по сравнению с этими хранилищами мечты, и чтобы их как-то уравновесить, приходится его задирать вверх рядами ярусов, так, чтобы на последнем было уж вовсе ничего не видно и не слышно. Чтобы добираться до них, необходимо сооружать сложную систему лестниц, поэтому, входя в театр и ожидая увидеть фойе, вы, может, и не осознавая этого, оказываетесь, по сути, на распределительной лестничной площадке, где всегда толкотня и непонятно, куда идти. Особенно эффектно там смотрятся дамы в вечерних платьях и бриллиантах – архитектура производит в них очаровательную растерянность. А ведь есть еще и театральная буфет, отдельное развлечение, которое никогда не находится там, где ты ожидаешь его найти.

Зал ниже сценической коробки, а вход меньше зала, поэтому каждое театральное здание приходится снабжать огромным портиком, прикрывающим всю эту конструкцию. Порттик всегда раздут, но всегда меньше, чем располагающаяся позади сценическая коробка, – это архитектурное выражение комплекса неполноценности. Когда, как в детстве, ты, чтобы прочесть стишок, становишься на табуреточку, весь раздуваешься, орешь как можешь, и все равно видно, видно, как ты безнадежно мал и ничтожен.

И вместе с тем это изобретение для фантастической возгонки переживания городского пространства. Причем она произошла с невероятной скоростью: от первых ренессансных пьес, в беспомощности которых даже нет очарования (вроде тех, которые писал Лоренцо Медичи), до Шекспира прошло каких-то ничтожных сто лет. А дальше – дальше изобрели оперу, и степень интенсивности переживания возросла в сотни раз. Да, конечно, средневековые мистерии были, вероятно, захватывающими, но они же не представляли себе, что все это переживание дыхания, эмоции, движения, времени – проживание жизни – не случайно, гармонично, имеет некий смысл, и этот смысл прекрасен. Это город как осмысленное Бытие – напомним, что Зедльмайр считал театр еще одной реакцией на смерть Бога и еще одним субститутотом храма.

Это не может не стать моделью всего города, жизни, и когда Вагнер придумывает *Gesamtkunstwerk*, «совокупное произведение искусства», которым является опера, а должно

быть все вокруг, – это, конечно, гениальная утопия, но одновременно и чувство любого человека, который выходит из театра, смотрит на город и в зданиях, улицах, площадях, людях видит продолжение только что пережитого, только какое-то недоделанное, недоведенное, нуждающееся в преобразовании.

Универмаги, вокзалы, здания парламентов, всемирные выставки – все это следование по тому пути, который был открыт театром, все это изобретения для интенсификации города. Театр сегодня кажется институцией более или менее традиционной, но на самом деле это результат модернизации, инструмент интенсификации переживания, и его эффективность по сравнению с городом примерно такая же, как у завода по сравнению со средневековой мастерской. Это фантастический, можно сказать, первый инструмент городского прогресса – поэтому всякая модернизация сначала проигрывается на сцене. Это станок по производству города. Вероятно, поэтому он так уродливо выглядит.

Центр и периферия

Дмитрий Медведев, присоединяя к Москве Новую Москву, объяснял это свое действие тем, что центр Москвы перегружен. Здесь соединяются административный, финансовый, торговый, культурный, научный и образовательный центры. Нужно их развести и получить полицентричный город.

Каждая из функций (сюда можно было бы добавить и военный центр в виде Арбатского военного округа, занимающего целый квартал, но Дмитрий Анатольевич осторожно не добавлял) продемонстрировала нежелание отправляться на высылки и употребила все свое влияние, чтобы этого не произошло. Победили все, и не переехал никто.

Это не первая попытка градостроителей пропихнуть идею полицентризма через высокое начальство. До нее был Генплан Москвы 1971 года с формированием восьми субцентров в спальных районах (следы его можно обнаружить в таинственном расположении главного офиса «Газпрома» в Новых Черемушках). До нее случилась попытка создать вокруг Москвы кольцо наукоградов – Зеленоград, Химки, Королев, Реутов, Электросталь... Все это превратилось в безнадежную периферию.

Полицентризм и сегодня является признанной целью градостроительной политики Москвы, что, на мой взгляд, является ошибкой. Но в силу доказанной временем нежизнеспособности идеи – ошибкой безвредной.

Конечно, существуют полицентричные города (как Лондон), но они возникают путем слияния поселений, у каждого из которых был свой центр. Центр относится к числу самоочевидных и из-за того несколько таинственных явлений. Самоочевидность – когда центр есть. Таинственность – когда кто-то пытается создать новый центр. Почему-то он не создается.

С Москвой все более или менее понятно. Центр города не создается одной функцией, там обязательно должно быть наложение многих. Если в центре города рядом с властью нет торговли, культуры и образования, это значит, что торговлю тут находят занятием зазорным (так бывает – вспомните изгнание киосков из Москвы), а культуру и образование отправили на высылки. Сама идея московской полицентричности – мертворожденное дитя советской градостроительной мысли, вскормленной индустриальной логикой: каждая функция понимается как завод (фабрика культуры, образования, торговли, финансов), каждому заводу – своя территория и свое заводоуправление. Это нежизнеспособно, поскольку противоречит экономической логике постиндустриального города, где эффективность определяется интенсивностью обмена, а она – количеством пересекающихся функций.

Но даже в случае, когда центр пытаются создать не путем выноса функций, а более вдумчиво, результаты скорее сомнительны. Яркий пример – попытка создать новый центр Парижа в районе Дефанс, который проектировался с 1955 года как символ послевоенного обновления Франции и пережил три попытки запуска (вторая – в 1970-е, последняя – начиная с 2006 года). Хотя сегодня это впечатляющее урбанистическое образование, тем не менее это никак не центр Парижа. Примерно тот же статус у Канэри-Уорф в Лондоне и в менее пафосном виде – у Сити в Москве. Во всех трех случаях начало строительства нового делового центра города приводило к активизации бизнес-функций в старом, старый центр обновлялся и в итоге выигрывал конкуренцию, превращая альтернативный центр в пафосные высылки.

Центр – наложение функций, но само по себе наложение функций не создает центра. Существуют поселения, в которых, можно сказать, нет центра. Например, Кремниевая долина. Это урбанизированное пространство бесконечной периферии, насыщенное высокотехнологичными фирмами и сервисами по их обслуживанию, но сказать, где там центр, – не скажешь. Хотя Сан-Хосе и претендует на этот статус, но это больше похоже на центр курортной зоны. Другой пример – Берлин. Центр этого города уничтожен в 1945 году, и, хотя после объедине-

ния Германии были затрачены гигантские средства и усилия на то, чтобы его восстановить, он все равно выглядит недопеченным. В этом городе есть центры отдельных районов города, а центр города – пустырь с небоскребами.

Если альтернативные центры и получались, то на основе политической, а не экономической логики. Это скорее колониальная практика, и основание нового центра здесь синонимично созданию новой столицы. Самый яркий пример – Нью-Дели Эдвина Лаченса, ансамбль, который стал даже более значимым центром Дели, чем старый центр Шах-Джахана. Аналогичные акции были предприняты в советских столицах стран Центральной Азии, прежде всего в Ташкенте. Но такие центры носят символическое значение. Они напоминают территорию ВДНХ, больше противостоят колонируемому городу, чем собирают их вокруг себя. То же может происходить и во вполне органических городах – достаточно вспомнить Кремль в Москве. Это, несомненно, центр города, но с точки зрения городской ткани – это изъятое из города пространство, противостоящее ей, а не центрирующее. Изъятый центр отражает идею насильственно цивилизующей власти, что характерно для колониальных стран, ну или стран, где власть легитимируется путем насильственного ведения общества вперед.

В случае, когда мы имеем дело с органическим городом, растущим, как Москва, концентрическими кругами, понять, где центр, несложно. Однако стоит уйти от органической к регулярной планировке – и он становится проблематичной субстанцией. Прямоугольная сетка не имеет центра, каждый ее квадрат равноправен другому (поэтому Джордж Вашингтон считал такую планировку пространственным аналогом демократии). Конечно, существуют разнообразные центростремительные композиции – основанные на идее круга, звезды, свастики и т. д. – и множество архитектурных ансамблей эпохи большого градостроительства, от Ренессанса до тоталитарной архитектуры XX века, было основано как раз на таких идеях. Однако центр здесь – это больше геометрическая точка, чем городское образование, в нем не ясно, что происходит и кто находится. Вспомните площадь Звезды в Париже с Триумфальной аркой – это очень эффектно, но никакого центра в арке нет.

Вероятно, самое убедительное возражение против композиционного понимания центра города в урбанистике – это американское название центра города – *downtown*. Оно чисто геометрическое и происходит из-за более или менее меридионального расположения Манхэттена. Южный Манхэттен, самый развитый и насыщенный в функциональном отношении район города, на карте оказывается внизу, из-за этого он получил название «нижнего города», а вслед за Нью-Йорком городской центр стали называть *downtown* уже независимо от его положения в городе – внизу, в центре или вверху карты. В этой логике центр вовсе не обязательно находится в центре города – это скорее эксцентрическое место.

Я думаю, что центр – это культурный институт, который основан на неочевидной логике. Мне кажется, для того чтобы понять ее, имеет смысл обратиться к антониму, к периферии.

Периферия города вообще-то не называется периферией. В Москве и российских миллионниках это понятие конкретизируется как спальный район. Главное свойство этого образования в том, что это место без свойств. В нем нет выраженной идентичности, оно не предполагает устойчивого набора жизненных сценариев, там можно заниматься чем угодно и не заниматься ничем. Спальный район – это ускользание от определенности в более или менее комфортную безымянность. Но исторически периферия не была столь невыраженной и нейтральной.

Есть три разных названия периферии, каждое из которых имеет свои смысловые оттенки. Во-первых, это окраина, и в этом слове остро ощущается привкус некоторого сиротства, пораженности в правах. Окраина напряженно смотрит в центр и переживает свою центрооставленность. Она неполноценна и при большой зависимости от центра довольно агрессивно к нему настроена.

Во-вторых, это слобода. Слобода – это искаженное диссимиляцией согласных слово «свобода», это изначально поселение свободных крестьян при городе, не город, не деревня, а нечто

промежуточное. Но от кого свобода? От центра, от принятых там обычаев, ценностей и норм поведения. В слободе не то что свои законы, а скорее свое отрицание законов, некая расслабленная лихость. Здесь ощущается отчасти хулиганский привкус жизни. С другой стороны, слобода совсем не нейтральна к центру. Иногда она настроена ворваться туда и захватить его.

В-третьих, это субурбия. Это европейское понятие, в России субурбий долгое время не было, да и сегодня они не вполне сформировались. Субурбия в подтексте имеет то, что называется *villa suburbana*, подгородную виллу, родившуюся в античности и возрожденную в Ренессансе. Эта вилла трансформировалась в коттедж для среднего класса, но смысл некоторого превосходства над городом в субурбии остался. Это место комфорта и достатка, правильной жизни, основанной на семейных ценностях и гармонии с природой. Место, откуда принято обличать суету, грязь, жадность и лживость городов. Субурбия, набирая силу и богатство, периодически мигрирует в центр (что происходит сегодня) в попытке установить там свои порядки (сегодня это экология), а потом, когда ничего не выходит, вновь бежит от суеты.

Эти смыслы – собственной неполноценности, раскрепощения от ближней крепости и превосходства над неправедными – до некоторой степени позволяют понять, чем является центр. Базовое свойство центра – его неравенство себе. Это место, где большинство людей оказываются с целью посмотреть на центр, и это люди с периферии. Из-за этого центр всегда оказывается сценой, жизнь в нем имеет качество зрелища, это место про «людей посмотреть, себя показать». Несколько задирая планку, можно сказать, что это место рефлексии города, его самоосознания, предъявления ценностей, которыми он живет.

В конце концов, идея, что центр города – это место наложения функций, связана с тем, что сегодняшняя спектакль центра – это ритуалы общества потребления, обмена и торговли. Если общество выстроено на других ценностях, такого может и не быть. На Дворцовой площади в Петербурге функции друг на друга не накладывались. Это был спектакль имперской власти, действие огромной пустоты. Такое понимание центра было унаследовано советским градостроительством, где весь город стекался к площади перед обкомом, которую редкая птица отваживалась перелететь.

Есть два вида христианских храмов – базилики, основанные на движении от входа к алтарю, и центрические купольные, которые предполагают мысленное движение от земли к небесам. Сравнение их с улицами и площадями банально и общепринято: базилика – это перекрытая улица, а центрический храм – перекрытая площадь. Но интересно перевернуть эту аналогию, обнаружив, что город строится как храм, предполагающий путь от периферии к центру, от профанного к сакральному. Центр – это место самоидентификации города, предъявления его смысла. Три отношения к центру, которые демонстрируют окраина, слобода и субурбия, – это разные отношения к откровению.

Посмотрите на персонажей ивановского «Явления Христа народу», и вы легко найдете там лишенца с окраины, нагловатого слободского парня и скептика из субурбии, так или иначе присутствующих при богоявлении.

В определенном смысле это тот же хайдеггеровский храм, о котором я говорил в связи с храмом земным, – «храм придает вещам их вид, а людям дарует взгляд на самих себя». Разумеется, центр несет в себе этот смысл в снятом, разбодяженном виде. Центр получает этот смысл тогда, когда храм снесен или не построен, смысловая конструкция центра так или иначе основана на интуиции если не религиозной, то пост- (прото-, квази-) религиозной. Здесь стоит вспомнить идею Мамфорда о том, что город создает святилище. Центр – это место отсутствия Бога, но такое, где он должен бы быть.

Это означает, что, если вы пытаетесь создать новый центр, не старайтесь перетащить туда функции или пересечь множество путей в одной точке. Поймите, в чем смысл вашей цивилизации, придумайте форму его пространственного развертывания, и у вас получится отличный городской центр.

Набережная

Вода – это городской мир иной. Как бы вы ни въезжали в город, вам предстоит сначала скучные предместья, потом раздразней срединной зоны и только потом собственно город. Но по воде вы всегда оказываетесь сразу в центре. Как будто прыгаете в центр через портал.

В статье об устройстве набережных Георгий Гольц, тончайший сценограф пространства, написал, что здания на московских берегах не должны быть слишком высокими, иначе река покажется узковатой. Они также не должны быть слишком длинными, иначе она будет монотонной. Но и не слишком короткими, не как в Венеции, иначе Москва покажется недостаточно величественной на фоне своей реки.

Вода – это перспективная игрушка. В обычной, сухопутной среде у вас множество масштабных ориентиров – окна, двери, тротуары, машины, – вы хорошо понимаете реальные размеры, и ширина улицы не слишком зависит от высоты зданий, а величественность города мало связана с их длиной. Новый Арбат не кажется уже Старого из-за того, что там высотные здания, а Московский проспект в Петербурге не величественнее Ленинского в Москве, хотя здания тут куда короче. На воде все иначе.

Набережная – это вопрос того, как сделать эти последние 50 метров на границе бытия. Как должна выглядеть граница с миром иным.

Самый простой ответ – превратить эту границу в свалку. В долгой истории городов открытая вода – река или море – ценна несколькими своими свойствами. Во-первых, фортификационно – это препятствие для осаждающего неприятеля. Во-вторых, до распространения железных дорог это самый дешевый способ доставки грузов. В-третьих, это резервуар для сбрасывания нечистот и просто мусора. Все это превращает берега в место, где превалирует мысль хозяйственная, направленная на то, чем бы еще загадить берег. И в большинстве городов, стоя метрах в пятидесяти от берега, вы видите величественную пустоту пространства, антипод городской подробности и скучности, но эти последние 50 метров непреодолимы – это полоса препятствий. Предположение, что здесь может быть нечто прекрасное, остро и парадоксально.

Я думаю, поэтому очень долго идея набережной никому не приходит в голову. Это очень позднее изобретение. Ни в античном, ни в средневековом, ни в ренессансном, ни даже в барочном городе набережных не было. Они появились в XVIII-XIX веках в новоевропейском городе, и на вопрос о том, что же тут делать, было дано два ответа – набережная высокого и низкого жанра.

Вероятно, изобретателем первых набережных можно назвать Джона Ивлина. В 1666 году он предложил свой план реконструкции Лондона после пожара, непринятый и неисполненный, но много на что повлиявший. Он предполагал оформление западного берега Темзы каменной набережной с величественными лестницами-сходами и триумфальными арками, оформлявшими выход из города к реке. Можно представить себе степень возмущения лондонских лодочников этой вредной затеей – на всем берегу, где раньше каждый бросал свою лодку, где хотел, было негде припарковаться.

Для возникновения набережной на берегу должно было оказаться нечто такое, что могло бы позволить себе не разгружать грузы непосредственно у своих стен и не сбрасывать нечистоты себе под нос. Поэтому набережная – аристократическое изобретение. Клод Перро в 1667 году строит восточный фасад Лувра и вместе с классицистической колоннадой впервые оформляет набережную. Это около 500 метров берега Сены. В течение следующих ста лет в Париже к этому добавляются набережные напротив колледжа Четырех наций и против Военной школы. В 1760-х начинается грандиозное строительство набережных Санкт-Петербурга. В известном смысле это наш национальный приоритет – Петербург был второй европейской столицей, полу-

чившей набережные, и первой, где они были построены в таком масштабе. Рим, Флоренция, Лондон, Берлин и т. д. украсились набережными позже, лишь в XIX веке.

Это изобретение, так же как и бульвар, – результат перенесения в город парковых приемов. Именно в парках XVII века, прежде всего в Версале, вода приобретает особые функции. Это не стихия, не опасность, но картина, зеркало. Прогулка по парку оказывается аналогом посещения картинной галереи, где виды геометрически правильной природы отражаются в правильных зеркалах бассейнов. Король созерцает метафизический порядок своего царства. Но по мере того как прием распространяется за пределы королевского созерцания, он создает фигуру наблюдателя как такового, уже не связанную с функциями репрезентации власти. Набережные оказываются картинными рамами для обрамления водных зеркал (одновременно с каменными берегами появляются плотины, делающие воду высокой, а течение незаметным), и по этой городской галерее может гулять кто угодно.

Нужно оценить уникальность этого решения – это место для горожанина с особым устройством сознания. В 1823 году Сильвестр Щедрин создал картину «Новый Рим». Это известное произведение, встречающееся во всех историях русского пейзажа как первый пример российского пленэра. На картине – вид на замок Святого Ангела с левого берега Тибра, примерно от нынешнего моста Умберто I. Щедрин рисовал по гравюре Пиранези 1750-х из серии «Виды Рима», которые, видимо, к 1820-м превратились в своего рода путеводитель для туристов. Набережной у Тибра еще нет, на первом плане лодки и рыбаки, человек двадцать, заняты своими лодками и разговорами. С позиций урбанистики можно сказать, что там у них, вероятно, какое-то рыбацкое сообщество – можно ведь представить себе устойчивое сообщество на реке. Но не на набережной.

Набережная – это прогулки, созерцание, размышление, но не коммунальная жизнь. Набережная – это пространственный институт городского одиночества. Тебя помещают на границу с миром иным, вырывают из повседневного контекста и заставляют взглянуть на все из позиции постороннего.

Это роскошный партер перед пустой сценой бытия. Он богато обставлен. Кроме Версаля есть еще Венеция. В Венеции изначально нет набережных, дома стоят вплотную к воде, и гулять вдоль воды невозможно, *Fondamenta delle Zattere*, *Fondamenta Schiavoni* и *Nuove* начинают складываться только в XVI веке, а свое мраморное оформление получают уже после Наполеона. Но есть Гранд-канал. Сам образ Гранд-канала, вдоль которого стоят сорок дворцов главных аристократических семейств Венеции, производил неизгладимое впечатление на Европу.

Есть мифология зеркала, ощущаемая скорее интуитивно и, вероятно, больше женщинами, чем мужчинами. Физически зеркало отражает все что угодно, но на самом деле – только то, что достойно отражения. Это род портрета, а портрет – довольно жесткий инструмент социально-эстетической цензуры. Лиц, достойных отражения в зеркале, сравнительно немного. Если здание представляет собой архитектурное недоразумение, оно редко стремится вылезти поближе к воде для отражения собственного безобразия. Набережная обязывает. Превращаясь в зеркало, вода притягивает к себе ту архитектуру, которая достойна в ней отразиться.

«Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков», – пишет Иосиф Бродский в «Путеводителе по переименованному городу». Это несколько кинематографическое ощущение реки как протекающей мимо тебя киноленты провоцируется эстетической законченностью каждого кадра – кажется, что ты провожаешь взглядом каждый миг созданных кем-то неба и земли и вслед за автором повторяешь: «И увидел, что это хорошо».

Отражается на этой пленке, разумеется, не только архитектура. В книге Михаила Ямпольского «Наблюдатель» есть восхитительное размышление об облаках. Суть в следующем: открытие Ньютоном преломления света привело в XVIII веке к особому пониманию

созерцания небес, когда облака стали пониматься как своеобразная живопись Бога – вот он преломляет облаками чистый свет на цветовой спектр, и так получается мир как картина. В приличном обществе практиковались специальные экскурсии для наблюдения за облаками (почему-то казалось, что особенно удачны они близ Неаполя, и об этом много свидетельств), продавались специальные приборы для наблюдений – стекла с коричневым налетом (для приближения колорита к классической живописи) и зеркала. Увы, это достойное занятие теперь перешло в разряд детских игр с потерянным первоначальным смыслом. Из этого Ямпольский выводит некоторые эксперименты в живописи Уильяма Тернера и метафизический строй этой живописи – попытку зарисовать картину Бога. Это ровно то время – 1800-1850-е, – когда набережные становятся повсеместной принадлежностью европейских городов.

Вода отражает небеса, и созерцание этой небесной живописи и создает уникальность этой среды. Я позволю себе еще одну цитату из Иосифа Бродского, на этот раз из «Набережной неисцелимых». «Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время... В любом случае, я всегда считал, что, раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и – раз я с Севера – к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени». Изумительно, что город способен соответствовать конструкции такого сознания.

Но увы, оставаться на таком уровне возгонки своего одиночества долго не получается. И отсюда – второй ответ, набережная низкого жанра. Все началось с Брайтона, где в конце XVIII века была устроена первая прогулочная набережная для лондонцев, приехавших в город подышать морским воздухом для поправки здоровья. За Брайтоном последовала в 1822 году Английская набережная в Ницце, далее это пагубное явление распространилось везде. Вместо метафизических набережных великих столиц появились набережные курортные.

Словно специально для того, чтобы снизить философический пафос, повсюду понастроили отелей, баров, ресторанов, местные жители подают креветок, кальмаров, омаров, танцульки, дамы с собачками, адюльтеры. Какое, спрошу я, может быть экзистенциальное одиночество, когда кругом устрицы с шампанским? И это английское изобретение распространилось повсеместно, в XIX веке по Франции и Италии, потом, после Второй мировой, – в Испании, Греции, Турции. Теперь даже если приедешь куда-нибудь на море, а набережной нет (ну как в Сочи), то кажется, что город неполноценный.

В принципе, здесь есть та же эксплуатация границы с иномирностью, что и в высоком жанре. Нигде не бывает так весело, как на границе бытия, где ты уже оторвался от повседневности, но еще не перешел в мир иной. Праздник – это смерть в легком жанре. При некоторых усилиях меланхолического темперамента правильное экзистенциальное состояние можно пережить и на курортной набережной. Помните, у Вертинского: «Потом опустели террасы, / И с пляжа кабинки свезли, / И даже рыбацьи баркасы / В далекое море ушли», – это настроение ближе к делу, но в шансонеточном виде.

Сегодня набережные легкого жанра повсеместно переформируют по своему образу и подобию высокие. Кафе, рестораны, спортивные приспособления, идиотское озеленение, прогулочные кораблики с музыкой и танцами и дебаркадеры с тяжелыми развлечениями затыкают, как могут, экзистенциальную брешь в среде города. Без всего этого сегодня город полагается не благоустроенным. Иммануил Кант оставил нам общеизвестное высказывание: «Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». С точки зрения урбаниста, оно свидетельствует об отсутствии набережных в Кенигсберге в конце XVIII – начале XIX века (что естественно в силу провинциальности этого города). Иначе бы к этим двум вещам добавилась третья.

Спорт

Каждый, кому приходилось искать в городе спортивные объекты, оставшиеся от больших событий, испытывал разочарование. Для меня оно началось с поисков телебашни, построенной Сантьяго Калатравой в Барселоне для Олимпиады в 1992 году. Башню видно из города, она высоко на холме, и у нее столь изысканная скульптурная форма, что ее хочется разглядеть поближе. Трудно передать удивление, когда обнаруживаешь, что идти к ней надо через заросший овраг, пока не упруешься в ржавый забор из сетки-рабицы. Место нехоженое и ненужное.

В Турине олимпийские объекты 2006 года, в том числе знаменитый «Паласпорт Олимпико», построенный по проекту Араты Исодзаки, сегодня представляют собой запертые пустые ящики, обнесенные железными заборами. То же в Ванкувере (там многие объекты просто демонтированы), в Сиднее. Когда города переживают спортивные события, то перед тем как строить стадионы, залы и поля, архитекторы и городские власти говорят о том, как это все будет использоваться после. Это обязательный ритуал, назначение которого в том, чтобы отогнать подспудную мысль, что все это – стадионы, залы и поля – не нужно. В том смысле, что невозможно сказать, зачем оно. И каждый раз оказывается – действительно, незачем.

Градостроительный скепсис усугубляется печальными размышлениями о здоровье спортсменов. Они как здания: были использованы и превратились в руины. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз – такова вся спортивная жизнь, это касается и телебашни, и фигуристки. Ужасающие болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, подорванный диетами желудочно-кишечный тракт, травмы головного мозга и т. д. и т. п. Это после окончания спортивной карьеры. А до? Это же только внешне счастливые, здоровые, немислимо совершенные люди. А за этим стоит одно бесконечное страдание – адский труд, боль, изнурение, жизнь на пределе физических возможностей – за что?

Бесмысленность затеи проявляется в болельщиках. Спортсмен страдает, чтобы стать примером совершенства для всех. Болельщики – те, кто уже идентифицировал себя как адепт этого совершенства. Ну вот и посмотрите. Нет, конечно, по-своему милые люди. Но! Похожи они на Роналду? Пьяные, с пивной фигурой, неряшливо, но кричаще одетые, с неустойчивым эмоциональным профилем – то плачут, то дерутся, то орут и хохочут – это что ж за результаты равнения на спортсменов?

Зачем?

В Греции было просто, спортсмены были боги. Они приходили на Олимпиаду, и это была иерофания. С этим связаны обряды открытия соревнований, праздники и танцы, как вот у нас в Сочи было выдающееся «Купание красного трактора». Заметьте: все пляшут и поют, а спортсмены – нет, они торжественно шествуют. Это ритуал шаманских танцев для вызывания божества. И оно является, и шествует, и делает свое божественное. Например, божественно бегают. А теперь спортсмены какие же боги? В лучшем случае – депутаты, и то по окончании выступлений.

А может, все же боги? Ну, не всемогущие, частичные, но все же божества? Святые?

Нет божества без верующих в него, и это истолкование феномена болельщиков. Верующие совсем не должны быть похожи на божество. Наоборот, они очень от него отличаются. Святого сопровождает толпа больных, искалеченных, прокаженных, расслабленных, кликуш. Вот вы помните картину Репина «Крестный ход в Курской губернии»? Это шествие российских болельщиков, одетых в поддержку национальных традиций.

Спортсмены – это святые. Святой – он же совершенен через страдание. Труд и боль, самоистязание и аскеза – вот путь святого. Ну и борьба с искушениями, иногда проигранная. Нарушения режима. Но в конечном счете – возвращение на путь истинный. Смысл культа понятен – превращение в совершенного человека. Перерождение через боль, страдание и отречение от

мирских соблазнов. Это очередная постхристианская религия. Таких много: культ искусства, эзотерика, психоанализ, культ власти, науки – Питер Уотсон собрал выдающуюся коллекцию этих постхристианских верований в книге «Эпоха пустоты». Но спорт он не рассматривает, а эта религия – самая массовая.

В книгах по истории спорта вы прочтете, что человечество занималось спортом всегда. Но это ошибка. Есть древнегреческая практика, и ее мы и возродили. Все остальное время человечество занималось физическими упражнениями, а не спортом. Фехтование нельзя назвать спортом, если его цель – не стать чемпионом, а кого-нибудь убить или защититься от того, кто хочет убить тебя. Как и массовые игры, если они важны не сами по себе, а как часть религиозного праздника. Это предшествует спорту как религии, но не является ею.

Суть этой религии отчасти определяется тем, что в начале XIX века спорт был занятием аристократическим. А дальше оказалось, что простой человек из народа может путем труда и боли стать столь же совершенным, как аристократ, и даже совершеннее. Это соответствовало ценностям революционных режимов, и потому и Сталин, и Гитлер превратили спорт в государственную идеологию. Об этом много написано, для культурологии привычна мысль, что при тоталитаризме спорт ритуален. Однако почему-то принято считать, что дальше спорт освобождается от идеологической функции.

Да ничего подобного! Для либерализма спорт – такая же религия. Вовсе не случайно американский яппи отправляется в спортзал в пять утра, чтобы успеть два часа посамостояться перед работой. Спорт – это зримое выражение того, что путем конкуренции человек восходит к сверхчеловеческому состоянию. В спорте адепты конкуренции видят свой путь к откровению. Они доказывают – и делают это ежедневно, – что Адам Смит был прав, и булочник, выпекая хлеб в конкуренции с другими булочниками, таки создаст булочки «Нектар» и «Амброзия», вкусить каковые можно лишь в раю.

Спорт демонстрирует все особенности развития большого культа. Есть главный ствол, как чемпионат мира по футболу, с большими праздниками, миллионами последователей, продажей сопричастности – гигантской индустрией спорта. Есть сектанты – фитнес-клубы, йога, пилатес, боевые искусства. Они идут к совершенству своим путем и, как правило, отрицают ценности главной ветви, обнаруживая там массу роковых изъянов. Есть люди, отрицающие как секты, так и главную линию из-за их коммерциализации, – джоггинг, футтинг, стрит-тренинг. Это что-то вроде нищенствующих орденов: они пытаются вернуть вере ее изначальную чистоту, искаженную официальной церковью и сектами.

Спорт – преображение города, но очень нетрадиционное. Вопреки обиходу предшественников новые боги не хранят верность месту. Схема Элиаде здесь не работает, наоборот, в одном и том же месте нельзя появляться повторно, в одну реку нельзя дважды войти, потому что срок жизни новых богов очень ограничен. Большая ошибка в том, что мы пытаемся обслужить этот нетрадиционный культ традиционным образом – стадионы превращаются в руины потому, что культ не привязан к какому-либо месту. Наоборот, в каждом месте он указывает, что люди здесь и сейчас признают себя несовершенными и стремятся к совершенству. И когда в каком-нибудь городе в семь утра ты вдруг обнаруживаешь толпу людей, одиноко (с наушниками в ушах) бегущих по набережной, то это столь же странное и впечатляющее зрелище, как коллективная молитва. Они бегут от смерти к совершенству.

Я вижу один недостаток в этой религии. Возрождение древнегреческой практики было связано с тем, что в течение предшествующих XX веку 400 лет Европа была зачарована античностью, причем это была массовая зачарованность, внедряемая школьным образованием. Однако древнегреческий атлет не был горожанином, и из-за этого в спорте в его сегодняшнем виде мало собственно городских ценностей. Мы с нашей средой обитания не можем стать совершенными вместе с нашими крышами и лестницами, барьерами и подземными перехо-

дами, нашим колющим, режущим, угловатым техногенным пространством. Нельзя спастись на тротуаре – для этого нужно найти траву.

Поэтому, я думаю, в будущем нас ждет расцвет спортивного протестантизма – массовое развитие городских, экстремальных, техногенных видов спорта. Паркур, скейт, урбан-сайклинг, акрострит, билдеринг и т. д. Последователи этой религии будут проповедовать преобразование урбанистического пейзажа и представлять себе рай в виде металлоконструкции. И кстати, они могут перетянуть на свою сторону зимников как не существовавших в античности. Впереди возможна великая схизма.

Жрецы

Для радикального материалиста нужда в жрецах – это потребность власти. И в таком случае ценности жрецов вообще нет смысла рассматривать отдельно от власти, это ее продолжение, духовные скрепки для госканцелярий. И есть множество материала, доказывающего справедливость такого воззрения.

Для ранних цивилизаций, скажем, Вавилона, разделение на дворец и храм сомнительно и малопродуктивно, храм ведаёт налогами, судом, архивом, вообще всеми государственными функциями, кроме военной, – как его отделить? И не только для ранних, вспомним конфуцианство, где чиновник – это, так сказать, жрец государственной службы. Отчасти, кстати, это средневековое китайское воззрение не чуждо просвещенному российскому чиновничеству нынешнего времени – может, поэтому они так безнадежно любят китайский путь развития? А европейская средневековая вера в короля-чудотворца, о которой нам так увлекательно рассказывал когда-то Марк Блок? Это же продлилось до Наполеона, идущего в чумные бараки в Египте. Если не до сего дня, когда президент, не зная зачем, должен посещать больницы с жертвами терактов или природных катастроф. Это бывает, когда глава государства – он же верховный жрец. Кстати, когда Бога нет и государство покоится на религии прогресса, то жрецы зачисляются в госслужащие с тенденцией к поголовности.

Однако не в меньшей степени история заполнена описанием жестоких конфликтов между властью и жрецами. Огромная часть библейских пророчеств – обличение власти, Греция оставляет нам историю казни Сократа, история Римской империи начинается казнью Цицерона, а заканчивается казнью Боэция – этим трагедиям нет числа. Фараон и жрец, кесарь и священник, император и Папа, царь и патриарх, король и философ, царь и поэт – эта драма в разных вариантах проигрывалась несчетное количество раз. Что, наверное, было бы невозможно, если бы они представляли собой одного субъекта с одной системой ценностей.

Зачем нужны отдельные от власти жрецы? Нужны не в смысле некоей частной нужды, не зачем верующему христианину нужен священник, охотнику шаман, невротичу психоаналитик, ищущему истины учитель, а вообще зачем человеческому социуму нужны жрецы?

Сомнение в нужности – их постоянный спутник, сомнение – двигатель жреческого прогресса. Доказывая свою нужность, они постоянно переоткрывают Бога. Мы пережили несколько жреческих революций, подталкиваемые сомнением, что Бог не тот, не здесь, что его вообще нет, и сильно продвинулись в знаниях о Боге.

Первой является революция монотеизма. Вторая – это обнаружение, что мы с Богом находимся в разных пространствах. Бог на небесах, а не здесь, и жрецы заняты установлением связи между нашими мирами. Третья жреческая революция – открытие, что Бог умер, но построение царствия Божьего на земле возможно путем прогресса. Что в принципе равносильно утверждению, что Бог растворен в Бытии и возможно его воскрешение путем концентрации раствора, чем в определенной степени и заняты жрецы современности. Но при всей величественности этих уже совершенных открытий Бога и тех, которые еще предстоят, это не ответ на вопрос, зачем они нужны.

В 426 году Блаженный Августин написал сочинение «О граде Божьем». Это не всегда осознается, но текст играет такую же роль для европейской архитектуры, как Витрувий, – в известном смысле это градостроительный трактат.

Я хочу обратить внимание на один аспект этой великой книги. Августин, говоря о граде Божьем, использует слово *civitas*. Это обычное латинское обозначение любого города. Но на латыни существует и другое слово – *urbs*, и между ними есть различие. *Urbs* – это город в физическом смысле, совокупность территорий и строений. *Civitas* – это город как собрание горожан, граждан (*civis*). Августин противопоставляет «град небесный» «граду земному» как два

социума, два народа, которые ведут свое происхождение от Авеля и Каина. Один град «живет по человеку», второй «живет по Богу». Кстати, на русский «град Божий» иногда переводится как «царство Божье», а можно было бы перевести и как «племя Божье». С другой стороны, тут сохраняется значимая двусмысленность, поскольку значение *civitas* в смысле именно города совсем не отменяется. Скажем, рассказывая об основании Рима и сопоставляя Каина и Авеля с Ромулом и Ремом, он цитирует Марка Лукана: «Первые стены, увы, обагрились братской кровью» – что вряд ли уместно, если бы речь шла только о городском сообществе. Если бы понадобилось зачем-либо определять Августина в современных терминах, это было бы близко к урбанистике социологического толка: город – это сообщество плюс то место, где оно обитает.

Вернусь к проблеме символа в храме небесном – волшебной палочке, разломанной надвое. Его трудно понять, смысл его скрыт и неоднозначен, и если мы пытаемся трактовать символ как приспособление для коммуникации, то ничего не получается. Христианская ли, мусульманская система символов не могла бы функционировать как семиотическая система, если бы не одно обстоятельство. Символы толкуются. Это происходит ежедневно и ежечасно в бесчисленных службах и ритуалах, и именно благодаря этому значение символа оказывается более или менее понятным и устойчивым. Это именно то, что делают жрецы.

Толкуются – кому? Тому самому «граду Божьему», собранию всех верующих.

Язык – главное средство формирования сообщества, русские – это те, для кого родной язык русский, французы – те, у кого родной язык французский. Град Божий, народ Божий – это те, кто знает язык символов. Но этот язык не существует без толкования. Символ в этой логике – это знак в нарушенной системе коммуникации плюс социум, занятый ее постоянным восстановлением и поддержанием. Функция жрецов – его толкование. То есть поддержание социума.

В каком-то смысле град Божий Блаженного Августина – это идеальный случай для понимания функции жрецов: вера не существует без церкви, церковь – это собрание верующих, задача жреца – поддержание устойчивости этого собрания. Однако я полагаю, что такое понимание функций жреца можно считать изначальным и оно проходит через все жреческие революции.

Храм земной не знает символа в описанном понимании, боги обитают в том же пространстве, что и люди, однако там есть вопрос о том, в каком именно месте этого пространства и как с ними можно увидеться. На него отвечает Мирча Элиаде теорией иерофании. Бог появляется в некоем конкретном месте, и это явление делает место сакральным. «Понятие сакрального пространства предполагает идею повторения изначальной иерофании, которая освятила некогда данное пространство, преобразив его, придав ему особый смысл, иначе говоря – отделив его от окружающего профанного пространства. Сила, действенность, эффективность сакрального пространства заключается в непрерывности, в постоянном продолжении освятившей его однажды иерофании».

Кто длит эту непрерывность? Социум, который о ней помнит. Кто создает этот социум? Жрец, который повествует об иерофании и знает способы (молитву, ритуал), позволяющие надеяться на ее повторение.

Единство места проходит сквозь жреческие революции, как бы игнорируя их. Возьмем, например, одну из главных мусульманских святынь, мечеть Омеядов в Дамаске. Это памятник всемирного значения – то есть в случае если вы не мусульманин, она является святым местом для культа жрецов религии прошлого, о котором я рассказывал в связи с идеями Зедльмайра. Кстати стоит заметить, что и эти жрецы занимаются ровно той же деятельностью по поддержанию сообщества адептов этой религии: культ памятников архитектуры и истории невозможен без соответствующих институтов пропаганды, экскурсоводов, историков, искусствоведов, философов, и в определенной степени текст, который вы сейчас читаете, является пусть несколько неканонической, но проповедью.

Мечеть построена в правление Аль Валида ибн Абдул-Малика (705-715). Но она перестроена из одной из древнейших христианских базилик, храма Иоанна Крестителя в Дамаске, заложенного императором Феодосием в конце IV века, и в мечети Омеядов по сию пору находится гробница Иоанна.

Феодосий получил имя Великого от христиан за довольно-таки сомнительные действия в отношении римской языческой культуры. В частности, в Дамаске решение о строительстве христианского храма – это решение о разрушении храма Юпитера, который стоял на том же месте (его колонны вошли в состав базилики Феодосия, а потом – в мечеть Омеядов). Храм Юпитера был построен во II веке, но на месте арамейского святилища некоего Хадду, бога Грозы (IX век до н. э.).

Исходя из идеи иерофании, святилища – будь то неясный арамейский храм, античный периптер, христианский храм на их месте или мечеть на месте христианского храма – являются своеобразной герменевтикой места. Само место неизменно, борьба идет за поиск наиболее адекватного истолкования того, что произошло и кто являлся. Место остается, но меняется социум, и наиболее заметное изменение заключается в том, что он расширяется. Каждый культ захватывает новых адептов, не вполне теряя старых, помнящих о месте иерофании.

Я сравнил язык христианских символов с естественным языком, создающим нации, но, разумеется, это не точное сравнение. Язык слишком неопределенно формирует систему ценностей. Жрецы создают метафизические горизонты, которые позволяют людям объединяться в надъязыковые группы.

Скажем, метафизический горизонт классической христианской цивилизации основан на идее, что Добро, Красота и Истина – это разные лики Бога, и потому этика, эстетика и наука изучают одно и то же. Этот грандиозный синтез, осуществленный Боэцием, прекрасно описал Павел Флоренский в «Столпе и утверждении истины». Это странная идея, она, скажем, не допускает, что красивая женщина может быть злобной дурой. Но в идее есть величие. Отождествление позволило соединять христианские и античные ценности, ученых, проповедников и людей искусства, и если дальше и возникало сомнение, что Бог, который их соединил, существует, важно, что они понимали друг друга и могли думать, что устремлены к общей цели.

Горизонт новоевропейской цивилизации был иным. Он основан на представлении, что научно-техническая революция и социальная революция – это одна и та же революция, и после ее победы наступит всеобщее счастье. Это странная идея, она, скажем, предполагает, что государства, осуществившие социальную революцию, как-то преуспеют в технике или что технические изобретения сделают людей счастливее в социальном смысле. Но в ней есть величие. Она создавала гуманитарное измерение технического прогресса.

Есть отдельный метафизический горизонт русской идеи. Он предполагает, что русский авангард, русское пространство, русская революция и русская вера – это одно и то же. Чтобы понять русский авангард, нужно взглянуть на русскую революцию, русская революция понятна через русскую веру, русская вера понятна через бескрайность русского пространства, русское пространство создает полет русского авангарда, и можно все то же самое связывать в любом порядке. Увлеченное блуждание в этих четырех соснах составляет основной сюжет того, что называется русской философией.

Важно вовсе не то, верны ли идеи, лежащие в основе того или иного метафизического горизонта. Они вообще не нуждаются в верификации. Их цель не в этом, а в том, чтобы соединять людей.

Юваль Ной Харари, автор нескольких интеллектуальных бестселлеров последнего десятилетия («Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего»), предложил замечательное объяснение потребности людей в мифах. Хотя не то чтобы никто об этом до него не догадывался, но он впервые высказал это в ясной и законченной форме. Мифотворчество является видовой способностью и конкурентным преимуществом человечества.

Это один из центральных тезисов его концепции человечества. Многие животные обладают навыками социального взаимодействия и даже могут превосходить в этом людей. Но им для взаимодействия необходим личный контакт – каждый должен быть знаком друг с другом и представлять себе способности другого. Люди тоже умеют взаимодействовать таким образом, но в группах не более 150 человек. Однако люди изобрели миф. Это интерсубъективная структура (объективно не существующая, но и не являющаяся представлением одной личности), которая позволяет объединять произвольное число людей.

Мы можем эффективно взаимодействовать с совершенно неизвестными нам людьми, если мы верим в одного Бога. Это видовое отличие позволило людям заселить всю землю, выстроить государства и цивилизацию в целом, иначе сказать – состояться в своем нынешнем виде.

Харари не задается вопросом, есть ли люди, которые делают мифотворчество своей специализацией. Но эта потребность в построении человеческого социума и определяет нужду в жрецах. Они нужны для создания социальности. Все остальное – поиски истины, Бога, индивидуальные экзистенциальные стратегии – это, до известной степени, побочные продукты их деятельности, хотя именно они и увлекают их в первую очередь. Для сообщества не важно, во что верят люди. Важно, что они делают это вместе.

Я уже сказал, что урбанистика отчасти повторяет прекрасную смысловую двусмысленность Блаженного Августина: город, с ее точки зрения, – это и совокупность территорий, строений и систем жизнеобеспечения, и сообщества, которые в нем живут.

Что касается физической составляющей, то нужно понимать, что для жрецов она важна настолько, насколько она соединяет людей общей верой. Существует не только миф, но и ритуал – средство, которое позволяет приобщить людей к мифу. И если с точки зрения институциональной экономики город – совокупность институтов, то с общежреческих позиций это совокупность пространственных ритуалов. Ритуал центра, площади, проспекта, набережной, бульвара, улицы, переулка, дома.

Если говорить о *civitas*, мы недооцениваем тот факт, что сообщества сами по себе не существуют. Если у вас в городе сильное сообщество велосипедистов – ищите велосипедных жрецов, а если их нет, незачем строить велодорожки. И если нет жреца площади, улицы и переулка, то они и не работают как ритуалы. Я еще раз напомним идею Мамфорда: святилище создает город. На мой взгляд, святилище создает город постольку, поскольку жрец создает сообщество. То, что в постсоветском городе люди не объединены в сообщества, определяется вовсе не тем, что мы не умеем их диагностировать, а тем, что в нем очень мало мифов, в которые люди верят вместе, и очень мало жрецов, которые их объединяют.

Одно опасение напоследок. Метафизический горизонт современности не вполне ясен. Но кажется более-менее понятным, что сегодня Бог живет в интернете. Уж во всяком случае именно сеть отвечает за связь людей. То есть мы впервые в истории сталкиваемся с ситуацией, когда иерофания не привязана ни к какому физическому месту. Икону заменяет экран смартфона, а смартфон из кармана можно достать везде. Это ставит под вопрос любую городскую структуру.

Переход из *online* в *offline* – это вовсе не вопрос гражданской активности или коммерциализации территории. Это вопрос новой структуры богоявления, которое пока не состоялось и для которого возможность существования специального места, где оно может состояться, весьма проблематична.

3. Рабочие

Рабочие кварталы

Они исчезли.

5–10 % населения, которых мы зачисляем в рабочих сегодня, – а это и не работающие на фабриках (дворники, строители, автослесари и т. д.) – это не те, кто создавал лицо индустриальной эпохи.

Лицо это было конфликтным. Это демонстрации и стачки, восстания и революции, и даже когда ничего этого не случалось, само присутствие рабочих в городе – измученных физическим трудом, недоедающих, неимущих людей – знаменовало собой постоянное ожидание конфликта. Не все рабочие и не всегда были такими, но образ был именно таким.

Исчезают и их следы. Время от времени защитники исторического наследия пытаются сохранить рабочие кварталы 1920-х. Это не то чтобы невозможно, но трудно. Качество жилья спорно, качество строительства оставляет желать лучшего, остаются качества проектов, и тут есть что сказать в пользу сохранения. Но что интересно: никому не приходит в голову доказывать ценность этих кварталов с позиций значимости истории рабочих, их быта, их повседневности. Качества дизайна – да, история жизни – нет. Мы сохраняем исторические магазины, древние храмы, дворцы – но не рабочие кварталы.

То же касается и фабрик. Фабрики – нечто среднее между зданиями и станками, и даже больше сдвинуты в сторону станков, инструментов. В качестве станков они теряют ценность после того, как производство устарело. Конечно, их можно защищать, но обычно промзоны с устаревшим производством превращаются в городские свалки, с которыми никто не знает, что делать, пока не придет время зачистить территорию и построить все с нуля.

Как выглядит город рабочих в истории? Это удивительно, но никак.

Город прячет рабочих. Если мы имеем дело с традиционным европейским городом, то мастерские располагаются на задах участков, а на улицу они выходят лавками – торговлей. Если с традиционным восточным городом, то это базар, где ремесленники прячутся в глубине кварталов, окруженных лавками со всех сторон. Требуется усилие, чтобы сказать, как выглядели кварталы чомпи в ренессансной Флоренции, ремесленные кварталы средневекового Парижа, рабочие кварталы Лондона. Их снесли, и на их месте выросли новые города. И само то, что они не сохранились – погибли в чуму, сгорели в великом лондонском пожаре, снесены бароном Османом, мало ли что случилось, – указывает на то, что город не видел в них ценности. Их не защищали и не восстанавливали, это были внутренности, изнанка, исподнее города. У рабочих нет прошлого, которое общество ценило бы и сохраняло.

Если пытаться по косвенным источникам восстановить образы пространства, в которых обитали рабочие до эпохи индустриального домостроения, то самым близким к ним современным образом будут трущобы. Хотя, разумеется, трущобы Шанхая, Ханоя, Рио-де-Жанейро или Мехико имеют свои национальные различия, то общее, что есть между ними, кажется сильнее. И это общее роднит их с рабочими кварталами Лондона XIX века у Энгельса и Диккенса, Парижа Гюго и Эжена Сю, Петербурга Достоевского, Нижнего Новгорода Горького или Москвы Гиляровского. Главное качество трущоб – ужас, невозможность существования в них.

Они не интерпретируются в терминах города. Но если это проделать, мы обнаружим интересные черты. Трущобы, как правило, – это малоэтажная застройка (два-четыре этажа), чрезвычайно плотная, дома ставятся встык, свободных участков нет. Дома при этом являются не многоквартирными, а скорее «хозяйскими» (по формуле «сам с чадами и домочадцами»), заселяются они покомнатно. Город трущоб имеет улицы, площади и дворы, не вполне отлича-

ющиеся от площадей. Все это минимально по размерам, площадь – это пропущенное домовладение. Улицы исполняют транспортные, а также и складские функции, они же используются для выброса мусора и иногда канализации. Кроме того, из-за перенаселенности дневная жизнь выплескивается на улицы: тут играют дети, сушится белье, готовят еду, отдыхают. Одновременно, при такой открытости жизни на улице, в глубине домов могут быть некие потаенные функции – мастерские или помещения для встреч. Кварталы трущоб не дифференцированы по функциям, в них нет отдельного места для производства или общественного пространства. Отсутствуют централизованные инженерные системы жизнеобеспечения, отдельные дома могут иметь автономные. Нет освещения.

Это же классический средневековый город, скажете вы, и будете в принципе правы. Льюис Мамфорд воспел средневековые города, восхищаясь садами в каждом дворе, соборной и ратушной площадью, красками воскресных рынков и т. д., но это касается зажиточных дворянских и буржуазных кварталов. Для того чтобы представить себе повседневность средневековых рабочих кварталов, стоит обратиться именно к современным трущобам.

И есть некоторые черты, которые отличают трущобы от традиционных городов.

В трущобах в принципе отсутствует дифференциация домов. Хотя, вероятно, там есть социальная иерархия, но дом короля трущоб не выделяется в застройке. Возможно, потому что короли трущоб живут за их пределами, хотя с точки зрения управления это вряд ли эффективно. Или из соображений безопасности здесь принята скрытность. Но так или иначе, невозможно существование в трущобах роскошного дома – с башней ли, с благородным фасадом, – выстроенного на века. Здания, символизирующие какую-либо власть, господство, полностью отсутствуют. Трущобы предъявляют внешнему миру образ равенства и коллективности. Здесь все вместе и нет власти за пределами непосредственного, очного подчинения.

Трущобы не помнят времени. Что значит новый дом в трущобах? Когда он строится, он сразу же выглядит как давно здесь стоящий, износившийся, разваливающийся – это свойство строительных материалов, целиком выходящих из мира ресайклинга. В трущобах все старое, все на грани уничтожения, все труха, но при этом, однако, отсутствует прошлое. Здесь нет древних, особо чтимых трущобных зданий, при трущобах нет кладбищ, тут не бывает памятников. До того как города забыли о своих рабочих кварталах, они, вероятно, сами про себя забывали. Люди живут на временных основаниях, ожидая, когда все это исчезнет и будет заменено чем-то другим.

Примечательно и чем это заменяется. Жилье – консервативная область, оно развивается мелкими, едва заметными сдвигами. Палладианская вилла наследует античным образцам, причем, как показал нам когда-то Джеймс Аккерман, «возрождение» (revival) тут неотделимо от «выживания» (survival) – если не архитектура, то сам тип античного домохозяйства «дожил» на итальянской земле до XVI века и определил идеи Палладио. Вилла Корбюзье, в свою очередь, как чуть менее убедительно, но с увлечением доказывал нам Питер Айзенман, вырастает из палладианской традиции. То же можно сказать о городских домах – рустованные фасады итальянских палаццо напоминают нам о крепостях, из которых они родились, сталинские многоквартирные дома напоминают нам о палаццо. Но новое жилье для рабочих выглядит принципиально иначе – оно никому не наследует.

Первый рабочий город, специально спроектированный для рабочих, – это город Шо Клода-Николя Леду (1775), город для солеваренного завода. Это в некотором смысле вариации на тему Сфорцинды Антонио Филарете (1464) – идеального города Ренессанса: рабочие у Леду живут в казармах, где у Филарете располагались гарнизоны. Леду не вкладывал в свое решение специального социального смысла. Но его странным образом никак не связывал существующий тип рабочего жилья.

У Роберта Оуэна, напротив, главная идея была социальной. Но при всей экономической изоциренности его идей самоуправляемого города рабочих, по форме его поселения это наив-

ные версии града небесного – квадратные поселения с обитаемыми стенами и садом с храмом посередине. Такие поселения были построены в Индиане (Нью-Хармони), Огайо (Йеллоу-Спрингс) и Пенсильвании (Валлей-Форж). Но, пожалуй, самое яркое воплощение идея Оуэна получила в проекте города Виктория (в честь королевы) его ученика и поклонника Джеймса Силка Бакингема (1849). Этот рабочий город выглядит какой-то лаврой, монастырем с тремя линиями обитаемых стен и колоссальным храмом посередине.

Что же касается другого великого учителя рабочего движения, Шарля Фурье, то его фаланстеры представляли собой версии Версаля – единой постройки с фабрикой в центральной части и двумя боковыми корпусами-ризалитами, в которых рабочие с семьями жили как бы вроде придворных. Один из таких городов – Гвиз – даже был построен под Парижем учеником Фурье Жаном-Батистом Годеном.

Эти проекты не столько увлекают своим художественным совершенством (его нет), сколько поражают легкостью, с которой можно большие группы людей переселить в небывалые условия. Рабочих мыслят то военными, то монахами, то придворными, как будто это еще не определившиеся люди, открытые к любым трансформациям. Здесь стоит вспомнить об их сходстве с иммигрантами – они есть, но в существующем социуме для них нет места, их требуется как-то переопределить, пусть и самым экзотическим образом. В паре с трущобами это открывает перспективу для размышления.

Вплоть до возникновения массового индустриального строительства город рабочих мыслится как возможность города, но не он сам. Их настоящее – нечто не вполне существующее, нечто временное и недостойное внимания. Они живут в будущем, где должны кем-то стать – то ли монахами, то ли придворными, то ли военными. Они открыты к любым изменениям, поскольку не имеют устойчивой формы.

Это бедственное существование. Но кроме того – это странное существование, которое как бы не вполне состоялось. Не видя этой предыстории, трудно понять то удивительное явление, которое представляет собой микрорайон.

Фабрика

В 1790 году предприниматель Ричард Аркрайт соединил паровую машину Джеймса Уатта (1769) и прядильную машину Джеймса Харгривса (1764) в одно целое и создал фабрику в Кромфорде. Это, конечно, условная дата рождения фабрики, можно назвать и другие. Но новация Аркрайта имеет некоторые преимущества для понимания феномена.

Прядильные машины и ткацкие станки стоят в мастерских ремесленников в городах Италии, Англии, Бельгии, да везде в Европе как минимум с XII века, когда возродились города. Они располагались во дворах, внутри кварталов – на улице мастерская выходила лавкой, в глубине было производство. Фабрика вытаскала производство из каждого двора, собрала вместе и поместила в отдельное здание. Примерно так же как до того, в XVII веке, театр собрал со всего города происходившие на площадях и улицах мистериальные драмы и представления и поместил их в отдельный ангар.

Но с той разницей, что здесь было собрано нечто непубличное, скрытое в глубине, то, что город не предъявлял себе самому, – зады. Город уже был, фабрика собирала производства из городских мастерских в новое здание на отшибе. Оно располагалось на границе города. Удивительным образом этот привкус окраины сохранился даже тогда, когда стали строить города, в которых завод был главным смыслом их существования. Тони Гарнье, автор книги-манифеста «Индустриальный город» (1917), разделил свое творение на две части вдоль дороги: с одной стороны завод, с другой – селитьба. Части равновесны, занимают примерно одинаковую территорию, и все равно жилые кварталы (или микрорайоны) воспринимаются как город, а промзона – как фабричная периферия при нем. По модели Гарнье выстроены сотни советских городов. Фабрика – это всегда сбоку.

1

Фабрика – приспособление для производства, инструмент, орудие труда, и в качестве такового оно имеет свою историю и смысл, технологический и экономический. Но с городом она взаимодействует не только через товары и деньги. Она создает смыслы, хотя в силу того, что это побочный продукт производства, смыслы не вполне высказаны и остаются на уровне неартикулированной мифологии.

После окончания индустриальной цивилизации в зданиях цехов стали делать музеи современного искусства. Это проявило сходство цеха и храма. Протяженные пространства с уходящей вдаль перспективой, ритм промежуточных столбов, несущих ажурные фермы перекрытий, свет сверху, из шедовых окон, отдаленно напоминающих окна клеристория, – все это кажется модернизированной базиликой. И как в базилике каждое место устремлено к алтарю, так и в цеху каждая площадка встроена в движение, только двигались не люди, но изделия. Вещь – она не сама по себе, она предмет, за который каждый подержался. Она – метонимия социального взаимодействия, фетиш коллективности. В этой оптике производство выглядит как ритуал индустриального культа.

Култ потерян, и потерян куда основательнее, чем традиционные религии, – людей заменили роботы. Но его можно реконструировать. Мы знаем схожие с базиликами производственные пространства и до революции Аркрайта – скажем, венецианский Арсенал, законченный в XVI веке, который историки производства любят называть «первым конвейером». Что заменяло в нем паровую машину и станки? Секрет строительства кораблей. Не так важно, какой он был, важно, что он был тайной. Попытка выяснить или выдать технологии Арсенала каралась смертью.

Средневековые ремесленники берегли тайны производства, которые представляли собой нечто среднее между технологическими рецептами и магическими формулами. Российский медиевист Дмитрий Харитонович в числе ингредиентов средневековой рецептуры упоминает пепел василиска, кровь дракона, желчь ястреба, мочу рыжего мальчика – в его формулировке «производственный акт ремесленника мог рассматриваться как осколок некоего магического ритуала». Технология производства кораблей – из того же ряда. Посредством неких тайных и непостижимых операций рождается то, чего раньше не было. В этом есть привкус священнодействия.

2

Блаженный Августин оставил несколько неожиданный упрек ремесленному труду.

Мы смеемся, пожалуй, когда видим, что человеческие вымыслы, разделив между ними (языческими богами. – *Г.Р.*) дела, приставили их к ним, будто мелочных сборщиков пошлин или ремесленников в мастерских серебряных изделий, где каждый сосуд, чтобы выйти хорошо отделанным, проходит через руки многих мастеров, хотя хорошо отделать его мог бы и один. Но при множестве рабочих иного и не могли придумать, как только чтобы каждый отдельно изучал по возможности быстро и легко отдельную часть мастерства и чтобы все вместе, занимаясь одним и тем же, не вынуждены были преуспевать в нем медленно и с трудом.

Смысл рассуждения Августина в том, что Бог единый выше, чем многие частичные боги или богини, где одна отвечает за целомудрие, а другая за любовь. Он не говорит, что серебряный сосуд, который изготавливают множество ремесленников, хуже того, который изготовил бы один мастер. Его интересует не качество изделия, а качество изготовителя. Если человек делает сосуд целиком, он выше, чем если он выполняет отдельную операцию. Это понятный взгляд для философа (где самые ничтожные фрагменты мысли имеют авторство, подпись, вроде: «все из воды – Фалес») и диковатый для ремесленника. И это самое интересное. Принцип рабочих иной, чем философов. Это безымянный коллективный труд, изделие, не являющееся производением одного, но соединяющее многих.

Есть ценности равенства и первенства. Блаженный Августин трактует производство с позиций первенства – лучший мастер тот, кто создал шедевр целиком, лично. Но ценность рабочих иная – тут важнее равенство, и это не гражданское равенство перед законом, но нечто более архаическое. Это равенство единства, равенство людей, вливающих в таинство коллективного труда.

Льюис Мамфорд посвятил философский трактат тому, что он называл «мифом машины». Он исследовал государство и общество как машины принуждения личности и порождения «частичного человека». Это в большей степени сюжет власти, но для меня здесь принципиален тезис Мамфорда о том, что «социальная машина» предшествует механической. Коллективный труд – это отчасти коллективная магия, нечто ритуальное, объединяющее людей в одно целое путем рождения коллективного изделия.

3

Венецианский Арсенал стал для Данте прообразом для описания одной из частей Ада (пятый ров Восьмого круга).

Мы перешли, чтоб с кручи перевала

Увидеть новый расщеп Злых Щелей
И новые напрасные печали;
Он вскрылся, чуден чернотой своей.

И как в венецианском арсенале
Кипит зимой тягучая смола,
Чтоб мазать струги, те, что обветшали,
И все справляют зимние дела:
Тот ладит весла, этот забивает
Щель в кузове, которая текла;

Кто чинит нос, а кто корму клепают;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;
Кто снасти вьет, кто паруса платает, —
Так, силой не огня, но божьих рук,
Кипела подо мной смола густая,
На склоны налипавшая вокруг.

«Сила божьих рук» запускает весь «производственный» процесс. У Данте – в аду – нет двигателя, паровой машины первых фабрик. Машина и заменяет собой эту силу. Это сложное, непостижимое, живущее своей жизнью нечто, которое подчиняет себе физический мир. Овеществленная магия, адская машинка.

«Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли массы населения – какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!» – говорят Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии». Здесь важно не только восхищение прогрессом, но и ощущение, что дух его дремлет в недрах, сокрытый и неразбуженный. Фабрика – это способ его пробуждения.

4

Итак, на окраине города располагается здание, внутри которого происходит некий процесс рождения вещей, управляемый машиной. Здесь есть нечто от фантастических антиутопий, но я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле это простая реальность, явленная нам во множестве городов. Это как раз и создает эффект невысказанной мифологии: миф вот он, стоит просто обратить внимание на структуру пространства. Фабрика – не город, она альтернатива городу.

Это особая окраина и особая магия – она рациональна. В традиционном городе свет Разума обычно сияет над главной дворцовой или соборной площадью и постепенно теряется в интригах улиц на периферии. В индустриальном городе, наоборот, старый центр романтичен своей иррациональностью, зато периферия – это сон учителя геометрии. Здания – одинаковые прямоугольники, между ними – одинаковые отрезки, все под прямым углом. Каждый объем не имеет смысла сам по себе: он элемент технологической цепочки. Фабрика – территория, где цех холоднойковки стоит рядом с цехом отливки, потому что с ним железно связан, – одно не имеет смысла без другого. Мир приобретает вещественную сопряженность, и его смысл – бесконечное увеличение блага в форме «больше чугуна и стали на душу населения в стране».

Не совсем понятно, нужна ли фабричная окраина городу – своей структурой и архитектурой он, как правило, ее не замечает или боится. Но окраине нужен город – для того чтобы зримо перерабатывать глупость и хаос настоящего в прекрасную рациональность будущего. Настоящее может быть разным – старым городом, избами и бараками, землянками и палатками, как на первых стройках первых пятилеток. Различия не важны, важно, что это материал для производства светлого будущего. Будущее можно просто производить на фабрике. Все цеха связаны между собой, все фабрики связаны другом с другом, каждая постепенно расширяет вокруг себя поле рациональности. Вся страна превращается в единую гиперфабрику – это, собственно, и был идеал Госплана СССР. Вся страна превращается в рациональную окраину, альтернативу всему остальному миру.

И ведь этот поразительный замысел производства будущего на фабрике – он удался. Фабрика перестроила наши города. По образцу фабрики мы построили типовую школу, типовую больницу, детсад – заводы по переработке детей в граждан и ремонту больных в здоровых. Ле Корбюзье называл дом «машиной для жилья», но типовые индустриальные дома правильнее называть «цехами для жилья» – они продолжают геометрическую логику фабрики.

Все это пространство имеет смысл, пока фабрика, которая все это создала, продолжает работать и производить будущее. Но если она встала, то смысл теряется. Это пространство рациональной окраины, магия рациональности которой потеряна. Все равно как если в списке ингредиентов, которые необходимы по рецепту, отсутствует что-нибудь главное – пепел василиска, скажем. И вроде бы все работает, крутится, но без толку – изделие не получается, заклинание не работает. Этот диагноз более или менее очевиден всем. Стоит, однако, задуматься над тем, как будет реагировать фабрика и весь произведенный ею мир на эту утрату.

Каждым станком, каждым цехом, каждым домом, каждым элементом пространства она будет требовать: запусти машину! Восстанови заклинание!

Достань мочи рыжего мальчика! Что мы и делаем.

Микрорайон

Счет принято предъявлять Ле Корбюзье, и есть за что.

У Корбюзье то общее с люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменной облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши, —

российские архитекторы, в целом относящиеся к Иосифу Бродскому с трепетом, свойственным любому советскому интеллигенту, эти строки ему простить не могут, тем более что Роттердам, которому они посвящены, для них является городом образцовым.

Корбюзье ненавидел традиционный город. «Улицы подобны траншеям, прорытым между семиэтажными стенами, за которыми скрыты темные душные колодцы дворов». Надо понимать, как это воспринималось поколением, пережившим окопы Первой мировой войны. Он хотел снести и Париж, и Москву и построить вместо них свои новые города.

Но он не проектировал микрорайонов. Даже городок Фирмини, где он работал с середины 1950-х, приобрел свой нынешний, вполне бирюлевский вид усилиями его последователей, а не его самого – он сделал только неопишемого вида церковь и две жилые пластины.

Другое дело, что он придумал дом, из которого набирается микрорайон. «Большие блоки квартир, каждая из которых открыта свету и воздуху и смотрит не на хилые деревья наших сегодняшних бульваров, но на зеленые поля, спортивные площадки и обильные посадки деревьев». Это и есть наши типовые индустриальные многоквартирные дома.

Это был ответ на вопросы города XIX века, не способного решить проблему массового жилья. Если в доходный дом XIX века заселить семьи с покомнатным расселением, из расчета три-четыре человека в комнате, то это прекрасное изобретение буржуазной Франции превратится в сущий ад, что мы прекрасно знаем по опыту коммунальных квартир в СССР. А именно так и строились новые дома для рабочих в Америке до индустриальной революции в домостроении.

Это был ответ на неспособность придумать жилье в городе, которое рабочий мог бы купить за свою зарплату даже в расчете на сумму этой зарплаты в течение всей жизни рабочего. На переуплотненный квартал, где рабочие снимали жилье. На дворы-колодцы, на отсутствие естественного света и воздуха, на антисанитарию, высокую смертность, низкую рождаемость, человеческую деградацию от нищеты, имущественную сегрегацию – на массу проблем.

И это действительно был ответ – проблемы были решены.

Идеальной формой такого дома была башня, или пластина, из одинаковых жилых ячеек, каждая из которых выходит окнами на открытое пространство, вентилируется и освещается. Что очень мешало такому дому – это соседние дома: они загоразивали солнце и препятствовали движению воздуха. Поэтому лучше всего было располагать такой дом в лесу или в поле – чтобы рядом других не было. В микрорайонах они так и располагаются. Это было изобретение, поменявшее силовое поле города. До того его частицы – дома – тяготели друг к другу, стремились слиться соседними стенами. После – стали взаимно отталкиваться, чтобы не мешать друг другу потреблять свет и воздух.

Что выиграли? Льюис Мамфорд определял этот выигрыш как «минимум жизни». В определении скрыта горькая ирония. В конце XIX века достижение минимальных жизненных требований было одним из главных социальных лозунгов. Количество квадратных метров

на человека, инженерное обеспечение (тепло, вода, электричество), инсоляция, воздух были предметом яростной борьбы. За них выходили на демонстрации и строили баррикады.

В городе массового жилья это превратилось в нормы – законы. Нормируются метры, солнце, воздух, шум, инженерные системы. Минимальных показателей много где удалось достичь. За счет индустриализации. Как производство мебели, одежды, роскоши и т. д. в XX веке превратилось из ручного в заводское, так и город превратился в завод по производству жизни. И именно поэтому идеи Корбюзье победили во всем мире. Его талант, дух авангарда и т. д. при всем их значении не победили бы миллионы людей и не увлекли бы сотни правительств. Победила индустриализация жизни, позволившая переселить в города половину населения мира.

Проблема в том, что этот завод умел производить только очень простые изделия на элементарных станках. А заработал он тогда, когда предшествующее кустарное производство достигло шедеврального уровня – великих улиц второй половины XIX – начала XX века.

Что проиграли? Понятно, что сильно проиграли в коммуникациях – дома, отталкивающиеся друг от друга, требуют затрат на связь. Транспорт, тепло, вода, электричество резко выросли в стоимости, но это было предсказуемо. Хуже, что мы получили город, которого никто не ждал. В городе из отталкивающихся друг от друга домов не образуется улиц, а только дороги между полянками, на которых стоят дома. Этот дом решил проблемы минимума жизни, но взамен разрушил морфологию традиционного города – кварталы, дворы, переулки, улицы, площади, бульвары, набережные. В его первых этажах не приживаются магазины или кафе, потому что нет потока людей около домов. Не получается выстроить площади с театрами, музеями, клубами. Среди типовых домов нет достопримечательных. Минимум жизни – он и есть минимум; все, что за его пределами, не выживает.

В России сегодня 80 % населения живет в городах, а 70 % жилой застройки в городах – это типовой индустриальный дом. То есть больше 50 % населения живет в типовых квартирах в типовом индустриальном доме – это наш национальный тип жилья, как в Америке коттедж, а в Англии – таунхаус. И везде – минимум жизни.

Если пытаться спрямить углы, то можно сказать, что микрорайон – это дом Корбюзье, поставленный в город-сад Эбенизера Говарда. Но Говард не виноват так же, как и Корбюзье, а может еще и больше. Его город состоял из индивидуальных коттеджей, а не из многоквартирных домов, и эти коттеджи были частной собственностью. Но территория планировалась не городскими формами – не улицами и площадями, – а по принципам английского живописного парка.

Говард был социалистом, он строил кооператив трудящихся, но все это со временем отпало. Осталась планировочная основа – семейные коттеджи среди садов. По результатам это нынешняя классическая американская и европейская субурбия. Кларенс Перри, американский последователь Говарда, был идеологом этой трансформации: следуя его идеям, в 1929 году Кларенс Стейн и Генри Райт создали первый из таких городов – Редборн, а впоследствии их строительство стало частью «нового курса» Рузвельта. Коттеджи располагались вокруг центральной площади со школой, мэрией, церковью и магазином. Все это вместе называлось *neighborhood*. Если верить Вячеславу Глазычеву, слово «микрорайон» первоначально являлось переводом *neighborhood*. Хотя поверить трудно.

Спиро Костоф считал, что соединение идей Говарда с Корбюзье произошло в начале 1930-х во Франции, и без участия их обоих. «Жорж Бенуа-Леви и Анри Селлье после краха частного рынка жилого строительства (последствия Первой мировой войны) адаптировали модель города-сада для своей работы. Первые проекты были в стиле Лечворта (город Говарда. – Г.Р.), затем появилась более плотная застройка. Города Шатне и Плесси демонстрируют обе фазы: они планировались в английской манере, но к началу тридцатых годов индивидуальные дома стали сменяться четырехэтажными зданиями».

Для России это несколько обидно: у нас были жилые поселки при фабриках, которые проектировали конструктивисты, у нас был Новокузнецк, который строил Эрнст Май, а никаких Шатне и Плесси мы в глаза не видели. Но справедливости ради стоит сказать, что и у братьев Весниных, и у Эрнста Мая многоквартирные дома при фабриках стояли строго по порядку – как контейнеры на складах готовой продукции. И хотя именно про Новокузнецк Эрнста Мая Маяковский писал: «Через четыре года здесь будет город-сад», никакого сада там не предполагалось. А наоборот, Виталий Лагутенко, автор первой советской пятиэтажки К-7, как установил Андрей Кафтанов, взял этот проект из французского журнала *L'Architecture d'Aujourd'hui* и перепер на язык родных осин. Так что французским опытом мы всю попользовались.

Вас все это не поражает? Решения, перекроившие города половины мира, зарождаются непонятно где, усилиями малоизвестных архитекторов, и приходится всеми силами подтаскивать туда великие имена – Корбюзье, Говарда, Мая, Весниных, – чтобы как-то объяснить, кто это придумал. И ведь что придумал?

Это удивительный, невероятный абсурд: типовое изделие домостроительных комбинатов, расставленное в английском парке. Это как бы Павловск, где вместо дворца, храма Дружбы, колоннады Аполлона и мавзолея Супругу-благодетелю поставлены пятиэтажки.

Этот вопрос вообще не решается в архитектурной логике. Ни Корбюзье, ни Говард, ни Бенуа-Леви, ни Селлье – вообще архитекторы ни при чем. Это не архитектурное изобретение, а цивилизационное. Архитекторы просто попытались к нему пристроиться, найти в микрорайоне что-то авангардное в наивном желании славы.

Есть часть очевидная. Микрорайон является продолжением фабрики. Тони Гарнье, автор первой книги «Индустриальный город», сам Ле Корбюзье в первых градостроительных проектах (план Вуазен, «Лучезарный город»), Эрнст Май, братья Веснины мыслили новые жилые районы как продолжение фабрик и заводов. Фабрика производит одинаковые изделия из одного и того же сырья посредством одинаковых операций и одинаковыми действиями людей. Из этого набора условий только люди разные. И это досадно. Чем они стандартнее, чем стандартнее их условия жизни, достаток, жилье, тем лучше. Микрорайон – устройство для стандартизации рабочей силы. Прообразом пятиэтажек в этом смысле являются вовсе не дома Корбюзье или Бенуа-Леви, а бараки, которые строились до хрущевского времени. Предшественник микрорайона – концентрационный лагерь. «Над блочно-панельной Россией как лагерьный номер луна» – это из песни Александра Галича, и действительно в микрорайоне больше от лагеря, чем от Павловска.

А есть менее очевидное. Микрорайон – это территория без прошлого. В идеале при его строительстве сносится все, что стояло на этом месте. Это очень специфическое качество, в других частях города так никто не поступает (а если сегодня и поступает, то как раз под влиянием навыка строительства микрорайонов).

Микрорайоны – впервые в истории – это дома с фиксированным сроком годности. У пятиэтажек он был 25 лет. Такого никогда не было: дом мог портиться, разрушаться, даже сноситься, но в принципе предполагалось, что его можно чинить бесконечно. Здесь же изначально, по условиям задачи, нечто временное, упаковка, строительный мусор. Здесь нет будущего.

Микрорайон не оставляет по себе никаких следов. Возьмите районы пятиэтажек, которые сегодня снесены. Обычно при строительстве нового дома от предшествующего что-то остается, хотя бы пятно застройки или форма участка. Здесь не осталось ничего: то, что построено на месте этих районов, спланировано принципиально иначе. Как будто здесь никогда никто не жил. Общество не находит здесь ничего достойного сохранения. Историческая память отсутствует.

Микрорайоны не знают иерархии. Здесь не может быть дома благородного семейства или дома правителя, богатого дома, дома уважаемого лица – здесь все равны. Микрорайоны – воплощенный пространственный образ равенства.

Вам это ничего не напоминает?

Микрорайон – это не дома Корбюзье, вставленные в город-сад Говарда. Это трущобы рабочих кварталов, переработанные на фабрике. Те ценности, которые мы наблюдали в трущобах, – жизнь без прошлого, вне исторической памяти, вне социальной иерархии, жизнь временная, прелюдия к будущей жизни, которая не будет иметь никакой преемственности с нынешним способом расселения, – прошли через заводской конвейер и остались неизменными. Изменились технические характеристики – есть вода, свет, газ. Но если в трущобах никогда не было магазинов и кафе, улиц и площадей, клубов и театров, то нечего и начинать. Это не входит в порядок жизни, и фабрика этого не производит.

Все это означает, что они точно так же открыты к любым изменениям, как те рабочие кварталы, с которыми имели дело Оуэн и Фурье. Из этого можно делать что угодно, потому что в том, что уже сделалось, общество не находит никаких ценностей, которые нужно сохранить. Мы не знаем будущего спальных районов. Это поразительная ситуация: большая половина жилой застройки страны стоит в ожидании непредсказуемых революционных изменений.

Школа

Город – такое устройство, которое не только предлагает условия для жизни, но и сообщает ей некоторый смысл. В этом плане микрорайоны индустриального домостроения – это уникальный тип расселения. Они не сообщают никакого смысла. Люди не отличают один микрорайон от другого. На вопросы антропологов, чем примечателен их район, жители всех отвечают, что у них рядом парк, и это правда, потому что парки везде.

Это место с нулевой семантикой. Но она там была. Потерялась.

У Кларенса Перри, американского последователя Говарда, в его поселении есть центр. А в центре находится школа.

Школа должна находиться в центре микрорайона так, чтобы у ребенка до дома было не больше полумили (800 метров) и он мог дойти до школы, не пересекая дорог с машинами. Размер микрорайона определяется так, чтобы он мог успешно поддерживать школу, что означает население от 5 до 9 тысяч человек и площадь примерно в 160 акров. При этом школа должна использоваться всеми членами общины для собраний и манифестаций, поэтому целесообразно предусмотреть большую спортивную зону вокруг школы для всего сообщества, —

пишет Перри в своей книжке «Микрорайон» («The Neighbourhood», 1929). Требования насчет пешей доступности и отсутствия на пути дорог с машинами прямо перешли из книги Перри в наши сегодняшние СНиПы.

Эта структура и определяет смысл жизни в микрорайоне. Мы живем ради наших детей. У нас в поселке нет развлечений, нет достопримечательностей, тут нечем заниматься, но у нас есть цель жизни. Дети. Эти дети на трехколесных велосипедах фигурировали на рекламном плакате первого города Перри – Редборна, и в расчете на них он и проектировался – все внутренние улицы городка были пешеходными, родители могли не опасаться машин.

В начале 1960-х микрорайон моего детства, Химки-Ховрино, спроектированный мастерской Каро Алабяна, получил премию на Всемирной выставке в Париже за планировку, которая не допускала возможностей сквозного проезда машин. Не сразу поймешь, в чем конкурентное преимущество. Машин в детстве было немного, и въезд автомобиля в микрорайон воспринимался как не исключительное, но все же таки разнообразящее повседневность событие. Оказывается, это так отозвался Редборн.

Школа и сегодня является главным социальным институтом микрорайона. Вовсе не случайно в школах голосуют или проводят встречи с избирателями, причем это происходит не только в России, где у выборов есть специфика. Школа – совсем особое место, примерно как для средневекового квартала – церковь. Здесь родители знакомятся, здесь возникают общие интересы, здесь выросшие и выучившиеся вместе дети образуют местный социум. С началом массового строительства микрорайонов «ребята нашего двора» меняются на «ребят из нашей школы».

Но при этом школа – институт гораздо старше микрорайона. Изначально европейская школа – монастырское изобретение. Начиная с XVII века государство постепенно увело ее от церкви. Но некоторые принципиальные особенности школы определяются спецификой ее происхождения. В частности, важнейшее свойство школы – ее экстерриториальность. Она может располагаться где угодно и не иметь к окружению никакого отношения – как монастырь.

Чтобы связать школу с микрорайоном, сделать ее сердцем общины, требуется эту экстерриториальность преодолеть. Это разрушает массу внутришкольных традиций и установлений.

В идее сделать школу обязательным центральным элементом микрорайона с самого начала было заложено противоречие.

Микрорайоны захватили полмира – так же как и всеобщее среднее образование. Однако ответ на вопрос о школе везде решался по-разному. Парадоксальным образом в наиболее полном виде идеал Перри реализован не в Америке, а в скандинавских странах. Школа там – действительно центр общины. Финские мамы приходят в школу и проводят там время как в женском клубе – для этого предусмотрены особые помещения. Готовят, шьют, занимаются цветоводством. Папы используют школьные мастерские для бриколажа. Школьный актовый зал – главный зал собраний общины, школьные спортивные сооружения – от футбольного поля до бассейна – главный фитнес-зал района. Такую же модель школы в определенной степени приняли Швейцария, Португалия.

Англосаксонская система образования (а это не только Британия и Америка, но и все страны с бывшим английским колониальным образованием, от Индии до Индонезии) в целом эту идею отбросила. Районной здесь является только младшая школа, а в старшей возродилась монастырская традиция в виде школьного кампуса, часто расположенного вне города и уж точно вне связи с ним.

СССР пошел своим путем. Микрорайон после хрущевских реформ стал основной единицей городского расселения – отчасти под воздействием плана «Большого Лондона» Лесли Патрика Аберкромби (1944), который предполагал строительство восьми городов-садов вокруг города и расселение в них больше миллиона человек. Коттеджи в СССР, разумеется, были заменены многоквартирными домами, а вот школы стали обязательным элементом микрорайона. В результате возник специфический тип поселений. Это многоквартирные типовые дома на поле застройки свободной формы, а в центре этого поля – школа.

160 акров, на которых располагался микрорайон у Перри, – это примерно 65 гектаров. На них у него проживает 5-9 тысяч человек. Но у нас в многоквартирных домах на 65 гектарах живет 65 тысяч человек (это выигрыш от прогресса многоквартирного дома сегодня, в хрущевские времена – около 30 тысяч). 65 тысяч человек при современной демографии – это по нормам 6,5 тысячи школьников. Это производство детей на единицу территории в промышленных масштабах. Нужна другая школа.

«В нашем Советском Союзе, – говорил Трофим Лысенко с его бесподобным умением формулировать, – люди не рождаются. Рождаются организмы, а люди у нас делаются – трактористы, мотористы, академики, ученые и так далее. И это безо всякой идеологической чертовщины – генетики с ее реакционной теорией наследственности...»

Если рассмотреть советскую типовую школу с ее системой коридоров и классов, ее расписанием и оценками, ее единым на всю страну учебным планом, единым учебником истории и т. д., то ближайшей аналогией окажется конвейерное производство. Там именно что делают людей. На завод поставляется изделие в возрасте шести-семи лет, оно перемещается для обработки в разных классных комнатах в течение 10-11 лет по четыре-семь часов пять-шесть раз в неделю, и на выходе мы имеем человека без наследственности.

Я бы не хотел говорить о нравственной проблематичности такого способа заточки человека под гражданина – она самоочевидна. Но можно заметить, что полученное изделие хорошо ориентируется в системах, устроенных аналогичным образом, – на заводах, в армии, в поликлинике, в очереди, в министерствах и ведомствах, – и оказывается в растерянности там, где пространство предполагает свободу двигаться куда хочешь. Например, в городе.

Если же говорить именно о системе расселения, где школа – это фабрика для изготовления 1000 детей на гектар, то здесь территория школы – это промзона. Промзоны имеют свою специфику. Главное – охраняемый периметр. Главным признаком школы в микрорайоне является забор. Посторонний человек на территорию школы зайти не может – это противоречит

требованиям безопасности. По сути, мы делаем из школы изолированный кампус, но при этом располагаем его в центре микрорайона.

Безопасность школы плохо обеспечивается забором, чему есть масса грустных доказательств. Зато забор прекрасно обеспечивает другое. Если центральное место микрорайона огораживается забором и туда нельзя зайти, то это устройство – микрорайон – перестает работать. Родители, конечно, знакомятся, стоя у забора, но это примерно такое же знакомство, как у родственников заключенных перед входом в СИЗО. Впрочем, для России это важный социальный навык.

Никакого использования школы проживающими вокруг, никакой местной повестки дня, никакой локальной социальности. Эта социальность заменяется пустотой огороженного поля в три гектара, на освещение и уборку которого тратится примерно столько же, сколько на зарплату учителей. Любая посторонняя деятельность здесь запрещена законодательно.

Современный микрорайон – это устройство, в котором смысл жизни есть, но за забором. В отсутствие «сердца общины» есть одно общепринятое общественное пространство. Место, где люди общаются, где складывается местная идентичность, формируется социум. Единственный элемент обустройства спального района, изготавливаемый и внедряемый в России повсеместно, – это детская площадка. Префекты, депутаты, клерки общегородского значения и даже некоторые федеральные чиновники неустанно заботятся о детских площадках, посещают их, дают там интервью, по состоянию детских площадок оценивают эффективность их деятельности.

Это след первоначального смысла жизни в микрорайоне – жизни для детей. За смысл пространства отвечают дети. От дошкольников до молодых людей возраста первой любви, от молодых родителей до алкоголиков на пенсии – все жители микрорайона проводят свой досуг в песочницах и на качелях. Тренируя, видимо, детскую способность изумляться тому, как же странно устроена жизнь.

Впрочем, в последнее время современные песочницы стали оборудовать бесплатным *Wi-Fi*. Так что они смогут связываться друг с другом. Некоторые считают, что это основа для формирования будущего гражданского общества в России.

Гаражи

Есть разные подходы к поискам русской национальной идентичности вообще и в структуре российских поселений в частности. Там много всего придумано, но вот есть одна уникальная вещь – гаражи. Русские гаражи – это как русский авангард или русская вера. Встречаются преимущественно в России.

Причем гаражи претерпели существенную эволюцию от советских к постсоветским временам. Советский гараж являлся прежде всего местом и формой проведения досуга. Советский индустриальный город был устроен таким образом, что отдых мужчины работоспособного возраста в нем не был пространственно предусмотрен. Если у него не было гаража или друга с гаражом, он проводил свое свободное время на детской площадке во дворе или у магазина, мучительно переживая свою неуместность. Иное дело – гараж. Карбюратор, кто помнит, – это такая вещь, что за перебиранием можно проводить годы.

Однажды я написал, что Симон Кордонский открыл «гаражную экономику». Он отреагировал в своем фейсбуке следующим образом: «Ревзин может писать что угодно. И о чем угодно, в том числе о том, что знает понаслышке. Авторы темы гаражной экономики – Александр Павлов и Сергей Селеев». Мне остается лишь повторить эти слова и извиниться перед выдающимся социальным мыслителем за безобразную диффамацию. Так или иначе, это колоссальное открытие. Выяснилось, что в бывших индустриальных городах, где закрылись заводы, от 15 до 30 % населения работают «в гаражах», то есть Россия – это вовсе не страна, которая ничего не производит, а вяло посасывает тонкую денежную струйку из цистерны патернализма. Нет, она производит машины и диваны, чебуреки и табуретки, книжные полки и стрелковое оружие, алкоголь и наркотики, шьет и пилит, разводит свиней и пушного зверя, создает сувенирную продукцию и спортивный инвентарь и т. д. и т. п. – в гаражах. Гаражи превратились в мастерские, и они живут своей жизнью. Это огромные городские территории со своей охраной, питанием, юристами (для переоформления машин), зонированием, социальной иерархией – фактически города в городах.

Репортажами о гаражных кооперативах в Тольятти и Димитровграде, Анапе и Москве, Тюмени и Владивостоке заполнены журналы и газеты. Обычно это описание самой мастерской и производственного процесса, очерк хозяйственной деятельности и быта (с оттенком этнографической отстраненности), интервью с хозяином, описание отношений с властью и серых финансовых схем. Иногда сочувственное, иногда негодующее. В последнем случае в рассказ добавляются порочные детали – антисанитария, подделки, мафия, преступность, проституция, наркомания, мигранты.

Симон Кордонский в своих статьях, введших меня в прискорбное заблуждение, убедительно доказывает, что наша гаражная экономика – это не бизнесы, а промыслы. Само слово «промысел» вызывает в памяти рабочие слободы, атмосферу средневекового города. Конечно средневекового сапожника или ювелира трудно сопоставить с димитровградским карбюраторщиком или московским веломастером. Наши промыслы – это промыслы людей постиндустриальной цивилизации. Однако сам способ устройства этой деятельности по типу не капиталистический. Бизнес можно продать, а промысел – нет. Бизнес нацелен на производство товара, а промысел – изделия, а уж продается или нет – другой вопрос. Есть множество других отличий.

Если же говорить о среде гаражей, то это, разумеется, трущобы. И это по-своему изумительно.

Гаражные кооперативы – это незаконное дитя спальных районов, они оборотная сторона массовой индустриальной застройки. Стоит индустриальной цивилизации закончиться, фабрике, которая эти районы породила, встать – и среда возвращается к тому, из чего она возникла. К сырию, из которого была собрана фабрика.

Нельзя все же сказать, что ничего подобного нет в мире. Если вы сравните российские гаражные кооперативы с мастерскими мелких ремесленников Китая, Гонконга, Индии, Индонезии, Вьетнама, то вы обнаружите, что там происходит ровно то же самое. Это ровно те же трущобы. И так же там собирают компьютеры, велосипеды, телефоны, мебель, делают пирожки из городских собак и поддельную кока-колу. Это ремесло после индустриализации, на фоне, рядом и после больших фабрик и больших брендов.

Я бы не сказал при этом, что там все сильно изменилось по сравнению со средневековыми ремесленными кварталами. Если вы углубитесь внутрь кварталов Дамаска или Стамбула, то там шьют сумки или делают ювелирные изделия, предлагая оценить подлинность материалов путем пробования их на зуб. Или можно поджечь зажигалкой, а ножом из дамасской стали дают перерезать алюминиевую вилку. И это не высокотехнологичное постиндустриальное ремесло, а примерно то же, что существовало здесь триста или пятьсот лет назад. И выглядело тогда все примерно так же, за исключением свисающей лианами старой электропроводки и невероятно грязного ватерклозета.

Но хотя внутри наших гаражных кооперативов и восточных ремесленных мастерских все устроено схожим образом, их предъявление городу, их, так сказать, фасады резко различаются между собой. Российский гаражный кооператив выходит в город забором, иногда даже с колючей проволокой. Китайский или стамбульский выходит лавками. Именно этот забор и делает наши гаражи уникальным русским явлением.

Тут сказывается генетика. Советский индустриальный город развивается из поселка при заводе. Первоначально там есть только жилье, завод и железнодорожная станция. Так же выглядели *company towns* в Америке конца XIX века, правда там были еще церковь и салун. Советская власть их убрала, зато добавила школу, больницу и клуб, ну и райком. Все это может довольно жалко выглядеть, но именно это и делает индустриальный город городом, а не рабочей слободкой. Однако то, что принципиально отличает эти города от обычных, – там нет рынков. Вообще нет, поскольку изначально промзона снабжается через ларек.

К рынкам много претензий – антисанитария, подделки, мафия, преступления, проституция, наркомания, мигранты – то есть ровно те же, что и к гаражным кооперативам. Сходство аргументов выдает близость стоящей за ними идеологии. Люди на рынках сравнительно те же, что и в гаражах, только это не те 15-30 % активного работоспособного населения, которые ушли в гаражную экономику, а те 5 %, которые ушли в челноки. Люди, не приготившиеся государству и ушедшие от него, – и там и там.

В гаражах, мне кажется, есть некий потенциал для развития спальных районов. Решение элементарное – дополнить гаражную промзону рынком, окружив ее по периметру лавками. Это, конечно, не решает всех проблем гаражной экономики, но все же до известной степени выводит ее из тени. И вместо закрытой зоны в городе мы получаем новые городские центры – и какие! Ведь те 15-30 % работоспособного населения, которые работают в гаражах, – это и есть самые активные, предприимчивые горожане. Они могут полностью изменить город.

Впрочем, это пустые мечты. Вообще-то использование гаража для производства – это изобретение вовсе не третьих стран, а самых первых. В гаражах начинали Уолт и Рой Дисней (Disney), Уильям Харли (Harley Davidson), Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард (Hewlett-Packard), Билл Гейтс и Пол Аллен (Microsoft), Стив Джобс (Apple), Джеф Безос (Amazon), Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google). Правда, это несколько другие гаражи – в Америке нет гаражных кооперативов. Это гаражи на участке частного коттеджа, а этот частный коттедж – институт развитой рыночной экономики, в которой есть куда развиваться из гаража.

У нас с этим хуже.

Парк

«Царскосельская статуя» Пушкина написана в 1830 году. Как это ни хрестоматийно, я процитирую:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

Примерно через тридцать лет Алексей Константинович Толстой продолжил это двумя строками:

Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее.

Ничего святого у человека не было.

В 1982 году Дмитрий Лихачев выпустил книжку «Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей» – прекрасную. Но она заканчивается английским живописным садом, 1830-ми годами, когда Пушкин и написал свой экфрасис. Что интересно, другие, не столь прекрасные книжки по предмету тоже, как правило, заканчиваются этим периодом. Как будто до 1830-х в парках была и поэзия, и семантика, и стиль, а после – только Яков Васильевич Захаржевский.

Проблема в том, что все те парки, о которых рассказывал академик Лихачев, не городские, а загородные. Это совсем другое устройство, чем городской парк. А городской парк появился после того, как из парков ушла поэзия садов. Был, правда, небольшой промежуточный период конца XVIII – начала XIX века, когда разнообразные просветители пытались привить горожанам вкус к прекрасному, доброму и вечному путем снятия ограничений на посещение аристократических городских усадеб для горожан. Но это только способствовало постепенному изгнанию из парков мифологических смыслов. Вряд ли кому-нибудь придет в голову искать образ рая в саду имени Баумана, даже если он и был первоначально Голицынским садом.

Что касается городских публичных парков, они благородной семантики были лишены изначально. Даже самые известные из них – возьмите хотя бы Central Park в Нью-Йорке Фредерика Ло Олмстеда – не про Олимп или Парнас, а про растительность как таковую. Качество воздуха, воды, состояние растительного покрова, ливневка, канализация. Одна, как выразился по другому поводу Лев Николаевич Толстой, «мысль хозяйственная».

Если вы попросите Google найти проекты благоустройства городского пространства – *public space design*, – то получите бесконечный ряд картинок газонов, клумб, живых изгородей, аллей и отдельных деревьев. Неважно, что благоустраивается: улица, бульвар, площадь или набережная. Газоны с шезлонгами или просто трава для возлежания, фонтаны-шутихи, лавочки, столики для пинг-понга, хаф-пайпы, катки и горки зимой – все это насаждается повсеместно. Вдобавок максимально ограничивается автомобильное движение и изгоняются парковки. Так что теперь идеальный горожанин – это пеший энтузиаст зелени, и Москва тут не отличается от Парижа и Лондона.

Парки выбрались за ограды и норовят захватить город. Человеческое пространство оккупировается утратившей семантику растительной жизнью. Это находится в известном противоречии с неясностью их смысла.

Впрочем, нашествие парка на город, ставшее сегодня эмблемой *friendly city*, пугает меньше, чем могло бы, поскольку для нас тут новости нет. Девять десятых Москвы так и устроено: спальные районы и есть гиперпарк со встроенными в него изделиями домостроительных комбинатов. Это прямая реализация провидений Ле Корбюзье. Полностью снести исторические центры авангарду не удалось, атака захлебнулась в мещанской привязанности горожан к переулкам и дворикам, а государств – к национальным символам. Ну что же, не получилось – это не повод сдаваться. Сегодня мы переживаем вторую авангардную атаку: на город напустили зелень.

Городской парк в Европе – порождение XIX века, эпохи промышленной революции. Круг идей этого времени хрестоматиен – машина, прогресс, капитал, пролетариат, освобождение – и прекрасно выстроен как нарратив сознательно творимой человеком истории, миф пути в светлое будущее. Есть, Впрочем, идея, которая в этот нарратив не вписывается, поскольку в будущее не устремлена. Но она тоже имеет непосредственное отношение к паркам. Это руссоистский человек.

Жан-Жак Руссо деконструировал все институты цивилизации – собственность, власть, церковь, образование, искусство и т. д. – на том основании, что в природе ничего этого нет и, следовательно, все это противоестественно. Нужно вернуться к природе и соединиться с ней. Это более или менее не удалось – отказываться приходилось слишком от многого. Но было изобретено специальное место для отказа от цивилизации. Это и есть смысл городского парка.

В них горожане – прежде всего городские низы, рабочие люди, которых раньше в парки не пускали, – могли приобщиться к природе как истине. Парк в этом понимании не образ высшей истины, но истина природы сама по себе. Именно поэтому он утрачивает мифологические и аллегорические смыслы, ему не нужно ничего обозначать. Растительность сама по себе есть высший смысл.

XIX век наполнен разнообразными экспериментами предпринимателей-филантропов и друзей человечества по созданию идеальных форм жизни для рабочих. Парки становятся если не обязательной, то всегда желательной частью американских *company towns* – если ты строишь фабрику, где будут работать, подумай о парке, где будут отдыхать трудящиеся. Конкретные проекты Фурье, Оуэна, Говарда, Тони Гарнье, Корбюзье могут сильно различаться. Но общим было то, что новый индустриальный город должен был состоять из трех частей – жилье, фабрика и парк.

Город оказывается полярной структурой. Есть поле естественного – природа, где истина и свобода, и поле противоестественного – фабрика, где машины и эксплуатация.

Парк при этом связывается с революцией. Теперь школьникам не надо изучать историю Коммунистической партии и слово «маевка», вероятно, должно перейти в разряд устаревших, но история рабочего движения наполнена парковыми событиями. Парки для рабочих оказались главным местом собраний профсоюзов и левой агитации. Лекции в парках изобретены вовсе не белоленточным активизмом, но движением за освобождение рабочего класса. Впрочем, революция может быть не только социальной. «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, пожалуй, самый яркий документ столкновения двух эпох парка – старой аристократической Европы, где парки наполнены прекрасными нимфами и наядами, и новой – демократической, где они наполнены джентльменами, исполненными критического отношения к порядку буржуазного мира. Их соединение дает нам идею сексуальной революции, все того же естественного человека, избавившегося от сковывающих его условностей.

Есть известная фотография Ле Корбюзье конца 1930-х, где он позирует обнаженным, полуобернувшись от абстрактной росписи. Не то чтобы во все времена художники добивались больших успехов, рисуя обнаженными, – более распространено обнажение модели, но в этот исторический момент нагота была принята и создавала ощущение подлинности создаваемого искусства. Отцы-основатели архитектурного авангарда после Второй мировой войны (как и

отцы-основатели художественного в начале XX века) разъехались по сельским местностям и часто фотографировались в таком виде. Крах европейской цивилизации, пришедшей ко Второй мировой войне, привел к необыкновенной популярности идеи начать все сначала – вернуться в природу и жить там в простоте естественного человека.

И победное шествие микрорайонов с парками в 1960-е, несомненно, вобрало в себя энергию того послевоенного энтузиазма радикального обновления. Не вполне уверен, но мне кажется, что хиппи унаследовали этот пафос послевоенного авангарда. Идеальный парк XX века – это, несомненно, Вудсток 1969 года, соединивший в себе социальную и сексуальную революцию, самое яркое воплощение идей Руссо, которое, вероятно, сильно бы поразило и его самого. Да, Вудсток случился вне большого города, но лишь потому, что городские парки к таким масштабам раскрепощения не были готовы. Собственно, этот смысл парка – освобождение от цивилизации, личное и социальное раскрепощение – никуда не делся и по сию пору, и вовсе не случайно урбанисты в европейских странах – люди радикально левых убеждений. Женщины Нью-Йорка, получившие в 2013 году решение суда, позволяющее им ходить в парках города *topless* как признание их гендерных прав, – прямые наследницы не только Вудстока, но и «Завтрака на траве», и даже «Свободы на баррикадах» Делакруа.

Человека консервативного умонастроения это может раздражать. У Бродского:

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потеряю.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт.
Свобода...

Однако эта мизантропия может быть повернута в обратном направлении. В желание, чтобы не город уничтожил зелень, а зелень – города. У нас есть поразительные данные об отношении москвичей к паркам. Москва – очень зеленый город, у нас около 40 кв. м зелени на человека, что в два раза превышает европейские аналоги. Больше 80 % москвичей, отвечая на вопрос о том, что примечательного находится рядом с их квартирой, говорят – парк. При этом недостаточное количество зелени в соцопросах стабильно оказывается на третьем месте среди проблем Москвы (после цен ЖКХ и мигрантов). То есть они больше всего любят зелень, у них больше всего зелени и им больше всего не хватает зелени. Некоторые исследователи видят в этом наследие расселения восточнославянских племен в лесной полосе, но мне кажется, что это идея более позднего происхождения. За этим стоит непреодолимое желание устроить революцию, послать весь город куда подальше и зажить, наконец, как естественный человек.

Пусть здесь все порастет травой.

Транспорт

Когда проектируют новое поселение, всегда приходит мысль обратиться к специалистам по транспорту. Скажите, говорят им, как должен быть устроен транспорт, а мы придумаем все остальное. Ну нет, говорят транспортники, это вы нам скажите, что у вас здесь будет, а мы вам скажем, как это обеспечить транспортом. А если мы не знаем, что здесь будет, то как же нам сказать, как устроить транспорт? Эта сказка про белого бычка приводит к взаимным боданиям. Сначала делают проект, а потом отдают его транспортникам, они его портят, проект приобретает окончательный вид и в несущественном количестве случаев реализуется.

А потом люди обживают построенное и через некоторое время озадачиваются неизбежным вопросом. Какой вредитель проектировал здесь транспортную схему и за что мы должны испытывать такие страдания от перемещений?

Улицы города, площади, переулки и т. д. могут быть более или менее прекрасными или наоборот. Автомобили бывают красивы, как, впрочем, и поезда и, реже, автобусы с троллейбусами. Но я не представляю себе ни одного человека, который бы сегодня, да и вчера, радовался течению транспортного потока или парковке. Ну кроме разве что транспортников. Правда, художник Борис Яковлев нарисовал в 1923 году картину «Транспорт налаживается», но, во-первых, это было после Гражданской войны, когда он был очень не налажен, а во-вторых, в картине до сих пор ощущается что-то неискреннее, пропагандистское. Да и вообще это было про железные дороги. Вонючий плотный поток людей и грузов в городе – это сомнительное удовольствие.

Причем нельзя сказать, что эта напасть приключилась именно в наши дни. Наоборот, так было всегда.

Ну вот, например, в Риме эпохи Траяна движение телег по городу в дневное время было запрещено, чтобы не забивать город. Всю ночь город грохотал колесами и оглашался воплями погонщиков и грузчиков. Ювенал жаловался, что спать невозможно, отчего мы и знаем об этом интересном установлении (это разумная мера, которую впоследствии использовали многие города, в Москве до сих пор запрещено движение грузовиков в дневное время). Дороги не только гремели и орали, они еще и очень пахли. В Риме было принято выбрасывать на дорогу содержимое ночных горшков и вообще мусор.

С этим же, мне кажется, связан обычай подкладывать на дороги трупы. Я бы даже, пожалуй, заметил, что в идее мафий закатывать покойников в асфальт можно увидеть следы древних обычаев.

Этот нечистотный обиход продержался все Средневековье. Это было даже не так странно, как кажется на первый взгляд, ведь тягловые животные гадил на дорогу постоянно, и люди подкидывали свое «под одну грязь». Кстати, это была серьезная проблема. В конце XIX века всерьез обсуждался прогноз о пределах роста для Москвы, поскольку количество навоза на улицах росло так, что количество лошадей, необходимых для его вывоза, столько его же и производило, и было ясно, что скоро они начнут работать вхолостую.

Реки в городе сегодня мало используются для транспортных целей, но в предшествующие века было иначе. И заметьте: дома XVI-XIX веков редко повернуты к реке парадным фасадом (за исключением городов, где появились набережные, фактически прекратившие хозяйственную деятельность). По реке движутся товары, дрова, на нее выходят сараи, бани, мыльни, сортиры, мастерские и фабрики – и все они сливают в нее свои отходы. Это зад города.

В XIX веке в романах из рек все время vyplывают утопленники. Я даже думаю, что резкое сокращение числа городских утопленников в наши дни напрямую связано с тем, что реки потеряли свое транспортное значение.

Роль рек стали выполнять железные дороги. В том числе и в градостроительном смысле. В старой книге Алексея Гутнова и Вячеслава Глазычева «Лицо города» авторы справедливо говорят, что железные дороги – это нечто вроде современных рек или ущелий. И заметьте: город побаивается к ним приближаться. Там возникает зона отчуждения, и кажется, что слово «отчуждение» здесь употребляется в философском смысле, *Entäußerung*, как у Гегеля. Это отчуждение от всего человеческого.

Ниоткуда город не выглядит таким странным, как с железной дороги, по ее руслу вы можете пробраться буйной, больной окраиной до самого центра. Это разрешенное место контркультуры: граффити, мат, сортирные рисунки, маргинальные лозунги километрами покрывают какие-то заборы, склады и зады гаражей. Все словно смазано тонким слоем склизкого дерьма и отработанного масла, будто по рельсам ходит гигантский пульверизатор со специальным составом. «Дай мне напиться железнодорожной воды». И эти набросанные тут и там старые холодильники, плиты, заросли кустов арматуры... И рябщая поросль сетки-рабицы... И чайки... Это потрясающий вид. Это ущелья, которые люди не могут пересечь, город разрезается ими намертво. Даже там, где есть железнодорожные мосты и тоннели, они не столько способ преодоления препятствия, сколько сами – препятствие, трудные, ранящие пространства.

Про «Анну Каренину» я даже не вспоминаю.

Есть, конечно, метро. Это лучшее и самое высокое изобретение в области транспорта. Да-да, эти вагоны, когда набитые до изумления, когда, наоборот, опасно пустые, эти бессмысленные лица пассажиров, введенных в механизированный транс стуком колес и недостатком кислорода, этот запах, эти боязливые лакуны вокруг спящих бомжей! Это самое лучшее, что изобрело человечество в области городского транспорта. Потому что его нет на улицах, он там, в недрах.

Но метро – это ведь доказательство нашей неспособности заранее спланировать транспортную систему. Метро возникает в старых городах (Лондон, Париж) как результат их неспособности переварить транспортные потоки. Это аппарат Илизарова, встроенный в плоть большого города. И он спасает от транспортного коллапса. Но после того как спас, он начинает разрастаться и пробирается уже в отдаленные спальные районы. Где, казалось бы, никто не мешал заранее подумать о транспорте без необходимости рыть тоннели под уже существующими домами и улицами. Их роют заранее, под незастроенными полями, в расчете, что потом застроится, и они стоят безумных денег. И это выглядит еще большим абсурдом, чем рытье тоннелей под городом уже существующим. Это постоянное поражение человека как разумного существа.

Вероятно, поэтому метро – это едва ли не самое популярное место самоубийства.

Кстати, дороги в какой-то момент попытались перенять опыт метро. В 1950-1960-е годы началось строительство дорог вне уличной сети – бесконечные тоннели, эстакады, шоссе, которые так же, как и линии метро, проходят через тело существующего города, пытаясь как-нибудь воткнуться в не предназначенную для этого плоть. Достаточно поглядеть на наши кольца – Садовое, Третье транспортное, даже МКАД, – чтобы увидеть, насколько это проблематично. Места контакта оказываются зонами воспаления, они обрастают мостами, эстакадами, тоннелями. Как будто над городом раскинута паутина капельниц и все точки, где они втыкаются, болят раскаленными автомобильными пробками.

Человечество пока не решило проблему транспорта. До изобретения телепортации нам предстоит с ней мучиться. Но сама ее нерешенность много говорит о транспорте.

Принято сравнивать город с живым организмом. Живые организмы могут быть красивы. Но если кто-нибудь начнет утверждать, что у человека особенно красив желудочно-кишечный тракт, это будет расценено как извращение, может быть, профессиональное.

Транспорт – это и есть система внутренних органов города, нечто вроде городской перистальтики. Только город – это организм, который выкладывает свои кишки наружу, на самые

видные места – на улицы, площади, проспекты. Это организм с внешней системой внутренних органов, как вот у насекомых бывает внешний скелет. И эти органы пульсируют, перегружаются, болеют и воспаляются, их приходится дублировать дополнительными стентами и протезами. Это не вполне эстетично и не слишком целомудренно.

Город работает. Переваривает вашу жизнь у вас на глазах. И он не стесняется.

Рабочие

1

Ричард Флорида ввел понятие «креативный класс». Это «класс, охватывающий представителей науки и технологий, искусства, СМИ и культуры, а также включающий в себя интеллектуальных работников и представителей самых разных профессий», основным занятием которого является производство новых идей и смыслов. Тут есть чему удивляться и с чем спорить, но я бы хотел обратить внимание на другое. На противоречивость ценностей, которые составляют смысловое ядро креативного класса.

По Флориде, это люди, чрезвычайно ценящие свободу поведения, причем ее современные формы. Креативный класс ценит разнообразие досуга и качество общения, их ценность намного превышает для него деньги, карьеру, семью – все, что составляло основу общества XX века. Креативный класс невозможен без современной музыки, клубов, театров, экспериментального кино. Экспериментов с сознанием. Для Флориды еще важна тема гомосексуальных отношений, он провел специальное исследование, доказывающее совпадение мест распространения ЛГБТ-сообществ и мест расцвета креативной экономики.

Все это репрессируется традиционным обществом и вызывает у него отторжение.

Но при этом креативный класс – это люди, которые всегда работают. У них нет отпусков, нет фиксированных рабочих часов, они не различают рабочих совещаний и дружеского общения. Они креативят с утра до ночи и креативят во сне. Вся их жизнь подчинена задаче создания нового. И креативный класс болезненно внимателен к здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию, экологии.

Эта часть этики креативного класса – апофеоз трудовой этики плюс культ здоровья – несколько напоминает ранние сталинские парады физкультурников или летнюю олимпиаду 1936 года в изображении Лени Рифеншталь.

Объяснить, как это сочетается между собой в одном человеке – всегда работать, всегда отдыхать, проводить ночи в клубах с музыкой и наркотиками, а потом на фитнесе и т. д., – можно только указав, что человек – вообще существо противоречивое. Однако интересно, отчего он противоречив именно таким образом в данном конкретном случае.

В 1967 году лауреат Пулитцеровской премии за заслуги (то есть за творчество в целом) журналист Херб Кэйн ввел понятие «хиппи». Кэйн был колумнистом газеты *San Francisco Chronicle* в течение 60 лет, он написал 16 тысяч колонок и стал одним из главных творцов мифа о Сан-Франциско как мекке свободы и креативности. Это великий журналист. Ему же принадлежит термин «битник» (1958, от *beat generation* – «разбитое поколение»). Но если битники остались обозначением довольно узкого явления второго американского авангарда, то хиппи оказались термином пошире. Контркультура, природа и экология, свобода, толерантность, измененные состояния сознания, отрицание карьеры, денег, семьи, ну и разумеется музыка – все это ценности, вошедшие в западную культуру вместе с поколением хиппи.

В 1982 году другой великий американский журналист, редактор журнала *The American Scholar* Джозеф Эпштейн ввел понятие «яппи» (*yuppie, young urban professional*). У яппи прямо противоположный ценностный профиль. Они ценят город, а не природу, деньги, а не свободное время, карьеру, а не впечатления, здоровый образ жизни, а не реализацию права на саморазрушение. Фактически Эпштейн подарил возможность консервативным молодым людям возможность быть модными наряду с хиппи, и само появление этого понятия было связано с тем консервативным поворотом, который переживал Запад эпохи Рональда Рейгана и Маргарет

Тэтчер. С культурой яппи оказались связаны те сферы жизни, которые презирали хиппи, – финансы и юриспруденция, бизнес и производство, менеджмент и консалтинг и т. д.

И то и другое было по сути именами для нового человека постиндустриального общества. Флорида снял противопоставление двух типов. Больше того, он показал, что одних без других не бывает. Если вы хотите получить успешное креативное комьюнити программистов, технологов, инженеров, конструкторов, ученых и т. д., обязательно подселите к ним актеров, дизайнеров, поэтов и, главное, музыкантов – и тогда все это заработает.

И если попытаться описать креативный класс как сообщество, в социологических терминах – тогда это *hippie & yuppie*. С этим связана противоречивость понятия, наличие двух противоположных ценностных рядов. Отсюда же и его успешность. Идея примирила двух новых людей и создала образ будущего.

Используя понятие «класс» в традиционном марксистском значении, – пишет Флорида, – мы остаемся в пределах базовой структуры, состоящей из капиталистов, которым принадлежат средства производства и контроль над ними, и наемных рабочих. Но в наше время обобщенные категории «буржуазии» и «пролетариата», «капиталистов» и «рабочих» почти утратили свой аналитический потенциал. Члены креативного класса обычно не владеют какой-либо существенной собственностью в материальном смысле. Их собственность, проистекающая из их творческих способностей, не имеет физической формы, поскольку располагается буквально у них в мозгу.

Это рассуждение выглядит странно. Непонятно, почему Флорида сопоставляет креативный класс по признаку владения собственностью с капиталистами, а не с рабочими. Фраза «члены креативного класса обычно не владеют какой-либо существенной собственностью в материальном смысле» является интеллигентным переложением лозунга Маркса «пролетариату нечего терять, кроме своих цепей». По Марксу пролетариат как раз и отличается тем, что не имеет собственности и продает свой труд.

Четче решал проблему другой теоретик постиндустриального общества Элвин Тоффлер. «Чисто физический труд постепенно исчезает. С малым количеством занятых физическим трудом в экономике „пролетариат“ сейчас находится в меньшинстве и больше заменяется „когнитариатом“. По мере становления суперсимволической экономики (базовый термин Тоффлера, связанный с идеей технологических волн как несущих конструкций истории и настоящего как эпохи информационной волны. – Г.Р.) пролетарий становится когнитаристом». Между пролетариатом и «когнитариатом» устанавливается прямая связь. Креативный класс отличается от пролетариата изменением характера труда – и тот и другой является рабочим, только один работает мозгами, а второй мускулами.

В этой перспективе мы получаем ответ на вопрос о том, куда делся пролетариат, – он превратился в креативный класс.

Допускаю, что это мало устраивает представителей самого креативного класса. Однако у нас есть конкретное место и время этой трансформации – Париж, 1968. Смысл революции 1968 года несколько шире, чем отставка и смерть де Голля. Это исторический момент, когда вся совокупность левых идей перешла от пролетариата к тому, кого мы теперь называем креативным классом. Собственно, начиная с этого момента, креативность соединилась с левизной. Сегодня претендовать на открытие чего-то нового и одновременно придерживаться правых взглядов – это более или менее абсурдно. Что жаль.

Попробую описать основные мифы креативного класса.

Итак, во-первых, это креативность, она же способность создавать новое. Это новое может быть в любой сфере, как продуктового производства, так и сфере идей. Новизна ценна сама по себе: важно не то, что она полезна, бесполезна или даже вредна, важно, что этого не было

раньше. С созданным им новым креативный класс органически связан, его идеи – это его единственная собственность, они – его продолжение. На место права собственности у креативного общества становится авторское право.

Во-вторых, это идея модернизированного человека. Представитель креативного класса радикально антитрадиционен в своих мотивациях, поведении, сексуальности, в отношении к семье, карьере, деньгам, сообществу. Любому традиционному социуму он чужой, но сам он снимает оппозицию «свой-чужой» через идею толерантности. Это человек освобожденный, что означает, что в генезисе у него были некие ограничивающие обстоятельства, но он их преодолел.

В-третьих, это идея будущего. В настоящем креативный класс видит массу недочетов и несообразностей, настоящее – это недоделанный, несовершенный мир, и именно этим легитимируется сама идея изобретения. Креативный класс живет идеей прогресса, до известной степени миллениаристской, – такого прогресса, который полагает, что есть некое идеальное состояние человечества, которое может быть достигнуто и к которому мы идем.

В-четвертых, это человек «машинный». До компьютерной эпохи и роботизации сама постановка вопроса о креативном классе не возникала. Именно машина позволила ему освободиться от физического труда. Этот человек видит машину как свое продолжение, часть своего «я» (по крайней мере, социального «я»).

2

Вернемся к Марксу.

Карл Маркс, с учетом колоссальных и трагических последствий его интеллектуальной деятельности, – один из учителей человечества. Его идеи разнообразны и не сводятся к учению о пролетариате (идея капитала принципиальнее хотя бы потому, что в отличие от пролетариата капитал не исчез). Тем не менее для понимания ценностей рабочих важна в первую очередь именно эта часть его наследия, и я бы хотел обратить внимание на некоторые особенности мысли Маркса.

Он сделал рабочих «ударной группой» человечества в битве за прогресс и, исходя из оппозиции «пролетариат-капитал», описал человеческую историю. Движущей силой истории стала борьба классов угнетенных и угнетателей, которая в ситуации капитализма имеет вид борьбы пролетариата и буржуазии, а ранее являлась борьбой крестьян и ремесленников против феодальной аристократии и до того – рабов против рабовладельцев. Эта базовая оппозиция является отражением конфликта производительных сил и производственных отношений, который, достигая критической точки, приводит к революции и отсюда смене исторических формаций – рабовладения, феодализма, капитализма и коммунизма. С наступлением коммунизма история кончается. Это гегелевская концепция истории в том смысле, что феномен развития выводится из одной базовой оппозиции, а движение осуществляется через цикл тезис – антитезис – синтез. Такая система имеет недостатки по сравнению с идеей конкуренции Адама Смита и ее трансформации в теорию эволюции Чарльза Дарвина. В рамках последней развитие есть конкуренция за ресурсы существования и экспансию. Скажем, борьба папы и императора в раннем средневековье получает внятное истолкование как случай символической конкуренции. В системе Маркса, исходя из идеи базового конфликта, эта борьба не имеет смысла, и мы можем ею пренебречь, как если бы это была частная история о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович.

Но даже если мы пренебрегаем частностями такого рода и объявляем содержательной историей лишь борьбу классов, мы не получаем связанного непротиворечивого описания. У нас нет движения рассерженных рабов, крестьян, торговцев и ремесленников, прокатившегося по Древнему миру под лозунгом «Да здравствует феодализм, светлое будущее всего челове-

ства». Его совсем нет, предпринимавшиеся попытки представить в этой роли восстание Спартака или проповедь Христа более или менее абсурдны.

Однако эта группа идей позволяла Марксу производить качественный политический анализ, как, скажем, в его брошюре «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». При этом сама концепция революции в этом конкретном анализе несколько видоизменяется.

Революция 1848 года во Франции и контрреволюционный переворот, совершенный Луи Наполеоном Бонапартом 2 декабря 1851 года, по Марксу был соединением двух революций – буржуазной и пролетарской. Движущей силой революции 1848 года являлись рабочие. При этом революция 1848 года осмысляла себя в парадигме революции 1789 года (здесь Маркс проводит очень тонкий семиотический анализ, которому могла бы позавидовать современная культурология), что предопределило поражение пролетарской революции.

Но движущей силой Великой французской революции 1789 года – буржуазной – являются опять же рабочие. Эти рабочие вступают в союзы – с буржуазией вообще, с промышленной буржуазией, с мелкобуржуазными элементами, с либералами, с интеллигенцией; эти союзы временные, все союзники рабочих предают, это требует новых революций.

Вместо истории как последовательной борьбы классов, приводящих к появлению разных формаций, возникает картина одной длинной революции, которую устраивают рабочие, постепенно уясняющие себе смысл своего существования и свое предназначение. На этой идее одной долгой революции пролетариата строил свою программу Ленин, вполне следовавший в этом направлении за Марксом. Он лишь решил спрессовать французские революции с 1789-го по 1871-й (Парижская коммуна) в промежуток с февраля по октябрь 1917-го. Надо заметить, что если перед нами революция как закон природы, то различие между веком и годом не имеет особого значения.

Революция – это главное занятие пролетариата, его отличительное занятие. И это не только экономическая и политическая революция, это несколько шире. У рабочих у Маркса есть принципиальное свойство – их нетрадиционность.

Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизненных условиях пролетариата. У пролетария нет собственности; его отношение к жене и детям не имеет более ничего общего с буржуазными семейными отношениями; современный промышленный труд, современное иго капитала, одинаковое как в Англии, так и во Франции, как в Америке, так и в Германии, стерли с него всякий национальный характер. Законы, мораль, религия – все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы.

Это вопрос о модернизированном человеке, который очень интересовал Маркса. Его представления о свободе были связаны не с просвещенческими правами человека, но с освобождением от уз традиционных сообществ, разрыве семейных, религиозных, национальных связей. Пролетариат, по Марксу, изначально от всего этого свободен. Там уже разрушилась семья, мораль, религиозное и правовое сознание – ничего этого у пролетария нет. И если для традиционного гуманизма или филантропов XIX века речь шла о том, что рабочий всего этого лишен и необходимо это все ему вернуть, то у Маркса эта тема звучит иначе. Грядущая революция вовсе не ведет к тому, чтобы вернуть пролетариату веру, право, семью и собственность, – ничего подобного. Пролетарий – это модернизированный человек. Он отличается от члена любого традиционного сообщества, противостоит этому сообществу, отрицает его. Он принадлежит довольно специфической общности – будущему мировому пролетариату.

Есть еще одно специфическое свойство рабочих. «Манифест коммунистической партии» начинается с восторженного описания модернизации жизни, которую принес с собой промышленный капитализм. Невероятный рост производительности труда, небывалое увели-

чение количества продуктов, фантастическое изменение транспортных систем, поражающий рост городов и распространение городского стандарта жизни, рождение феномена глобального мира – Маркс и Энгельс восхищены этим прогрессом. Однако, как они полагают, капитализм просто не в состоянии распорядиться всем этим невероятным подарком прогресса. Кризисы (Маркс имел в виду только кризисы перепроизводства товаров) регулярно уничтожают все это колоссальное богатство, и люди остаются в чудовищной нищете и живут в нечеловеческих условиях. Товары, еду, производства, капиталы приходится обращать в ничто, чтобы выбраться из кризиса, а в это время тысячи людей, которые их создают, лишены всего. Стоит всего лишь изменить правила производства и распределения этого продукта, который мы уже умеем производить и уже даже произвели, – и этот морок исчезнет.

Возможно, в силу этого вопиющего абсурда в теории Маркса возник странный перекокс: он совсем не ценил труда капиталистов. Он закрепил за капиталистом одну функцию – эксплуатацию. Рабочий вкладывает в продукт свой «живой» труд. Туда же вкладывается стоимость инфраструктуры – машин и фабрик, которая, по Марксу, есть «мертвый» труд, труд предшествующих рабочих, которые создали машины и фабрики. Далее продукт поступает на рынок и продается по рыночной цене. Разницу между «трудовой стоимостью» и потребительской стоимостью капиталист присваивает себе.

Но Маркс не мог не знать, каких трудов и квалификации стоит поиск кредита, организация производства, поиск рынков сбыта, постоянная модернизация, внедрение новых технологий и технических изобретений – вся та колоссальная работа по поиску и внедрению нового, без которой не была возможной восхитившая его поступь прогресса, которая модернизировала весь мир. Мы знаем это по той катастрофе, которая постигла социалистический эксперимент в СССР, попытавшемся обойтись в производстве без предпринимательства. Это был большой эксперимент, доказавший наличие ошибки на гигантском материале. Но Маркс тоже знал это хотя бы по неудачным попыткам перенастроить всю систему производства в пользу рабочего у восхищавшего его Роберта Оуэна. И тем не менее в своей теории трудовой стоимости он ухитрился не учесть труда капиталиста в стоимости продукта вообще. Он у него ничего не стоил, поэтому стоимости просто не было. Почему?

«Из крепостных средневековья вышло свободное население первых городов; из этого сословия горожан развились первые элементы буржуазии», – пишет он в Манифесте. Это неточность: население первых средневековых городов возникало не из сельского. Однако здесь важен смысл слова «буржуазия». Это просто жители городов. Это третье сословие, которому соответствует «цеховая организация промышленности». Рабочие в этой ситуации владеют средствами производства, своей мастерской, то есть они являются и рабочими, и буржуазией сразу, и в этом своем качестве они «буржуа» – городские жители.

То есть в генезисе у Маркса буржуазия и пролетариат – это одно и то же, они выросли в одной семье рабочего средневековья. Этим, кстати, объясняется то, что буржуазная и пролетарская революция имеют одну и ту же движущую силу – рабочего, просто в первом случае он еще не разделился на два класса, а выступает в одном лице, противостоящем феодалам.

Капитализм в первой половине XIX века был по преимуществу денежно-финансовым, а не промышленным (как сказал министр финансов Луи-Филиппа Жак Лаффит, «отныне Францией править будем мы, банкиры»). Соответственно тем новым, что приносила с собой буржуазия, казался не новый технологический уровень цивилизации, а проникновение товарно-денежных отношений в процесс производства. И хотя Маркс прекрасно понимал, что без капитализма никакого сногшибательного прогресса не случилось бы, он не считал креативность свойством буржуазии. Это была очевидная несообразность, но она определялась исторической ситуацией – изобретателей-капиталистов, Стива Джобса, Билла Гейтса и Илона Маска во времена Маркса еще не существовало. Пролетариат трудился, а буржуазия делала деньги. Если отменить частную собственность, буржуазия не нужна.

Специфика философской позиции Маркса заключалась в том, что он считал смыслы и идеи имманентно присущими материи, в том числе и прежде всего – социальной материи (диалектический материализм). Отсюда креативность, способность создавать новое и творить прогресс имманентно присущи рабочим, и если буржуазия временно отняла у них это свойство, превратив их в придаток машины, то это не значит, что в будущем оно не проявится. Иначе говоря, Маркс не ценил квалификации и труда капиталиста постольку, поскольку полагал, что способность к изобретению нового изначально присуща рабочему – тому городскому рабочему, из которого родились и буржуазия, и пролетариат. Поэтому стоит убрать буржуазию, и тяга к модернизации мира у рабочего класса расцветет.

Итак, по Марксу у рабочего есть следующие свойства. Это «модернизированный» человек, его образ жизни и ценности противостоят традиционному обществу. Ему изначально присуща способность создавать новое. Он производит революцию и пересоздает мир заново. Ему принадлежит будущее.

Стоит, вероятно, изумиться тому, как мало это отличается от свойств креативного класса Флориды.

3

Для понимания рабочих в домарксистской традиции важно сказать, что Аристотель полагал – рабы являются орудием труда. Не людьми. Люди, которые занимаются изготовлением вещей, – это ремесленники.

Две особенности понимания этих ремесленников довольно резко отличаются от привычного нам.

С одной стороны, необычайное возвышение ремесленника. С точки зрения Аристотеля, ремесленник, художник, то, что мы назвали бы инженер, – суть одно и то же. Все это – «техне», противостоящее «эпистеме» – теоретической науке. В природе нет статуй, картин, машин, посуды – создание всего этого есть «техне». В природе есть пространство, материя, вещество, стихии, жизнь – изучение всего этого есть «эпистеме».

С другой стороны, это принижение ремесленника (он же художник или инженер) по не вполне тривиальным мотивам. Аристотель считает, что на пути ремесленника, художника или изобретателя возможно открытие лишь частичной добродетели. Платон «вещеделание» – и изобразительные искусства и ремесло – считает «подражанием подражанию».

В X книге «Государства» дается некоторого рода систематическая концепция. Платон проповедует, что бог создает только идею скамьи, плотник – отдельную скамью, – пишет А.Ф. Лосев. – Создание богом родовой скамьи является в то же самое время и созданием скамьи как идеальной вещи. После этого не удивительно, что плотники создают свои единичные скамьи. Лишь бы существовала родовая идеальная скамья, а создавать в подражание ей отдельные единичные вещи – дело нехитрое.

Это философическое третирование ремесленников несколько туманно. Ксенофонт, не утруждаясь философией, ругает их попроще. Он сообщает о ремесленниках следующее:

Занятие так называемыми ремеслами зазорно и, естественно, пользуется дурной славой в городах. Ведь ремесло вредит телу и рабочих, и надсмотрщиков, заставляя их жить сидя, без солнца, а при некоторых ремеслах приходится проводить целый день у огня. А когда тело изнеживается, то и душа становится гораздо слабее. К тому же ремесло оставляет очень мало свободного времени для заботы еще о друзьях и родном городе. Поэтому ремесленники считаются непригодными для дружеского сообщества

и плохими защитниками отечества. А в некоторых городах, особенно в тех, которые славятся военным делом, даже и не дозволяется никому из граждан заниматься ремеслами.

При чтении этих фрагментов не покидает ощущение, что претензии к ремесленникам несколько абсурдны и негативное отношение к ним скорее предшествует своим основаниям, чем следует из них. Проще сказать, и Платон, и Аристотель, и Ксенофонт изначально подозревают ремесленников в чем-то нехорошем, пытаются объяснить это рациональными аргументами, что у них получается не вполне убедительно (вроде тезиса о том, что тело кузнеца из-за пребывания у горна приобретает изнеженность).

Откуда берется это предубеждение?

Иосиф Флавий, пересказывая в «Иудейских древностях» Библию для римской аудитории, утверждает, что все изобретения начинаются от проклятого каинова колена.

Изобретением весов и мер он изменил ту простоту нравов, в которой дотоле жили между собою люди, так как жизнь их, вследствие незнакомства со всем этим, была бесхитростна, и ввел вместо прежней прямоты лукавство и хитрость. Он первый поставил на земле разграничительные столбы, построил город и, укрепив его стенами, принудил своих близких жить в одном определенном месте.

Потомки Каина изобрели искусства и ремесла, а именно: Иовел воздвигал палатки; Иувал занимался музыкой и изобрел лютни и арфы; Фовел изобрел кузнечное ремесло.

Этот сюжет подробно разобран в работах петербургского историка Дианы Савельевой.

Сюжет красноречиво обозначает возникшее противоречие между искусственно созданным и природным, причем дурная репутация досталась целиком искусству (в том числе ремеслу), а противоположностью ему является природа и природно созданное и, как видим, наука. Такое положение вещей удивительным образом совпадает с тем, что нам известно об антиномии природного и искусственного и о почитании науки в Древней Греции.

Главная претензия, подозрительность в отношении ремесла заключается в том, что оно создает то, чего не было. «Эпистеме» – благочестивое занятие, это стремление понять божественный замысел мироздания. «Техне» сомнительно уже тем, что представляет этот замысел каким-то ущербным и неполным, все время приходится что-то изобретать.

Пифагор с этой точки зрения глубоко благочестив, но вот Архимед, вероятно, нет. Архимед нам оставил горделивое высказывание: «Дайте мне точку опоры, и я передвину Землю». Это, разумеется, впечатляющее сообщение о могуществе рычага, но возникает вопрос, зачем это делать. Можно сказать, что с позиций Пифагора это не только ненужное, а вредное действие. По Пифагору, планеты выстроены в ряд в соответствии с принципом гармонических пропорций и расстояния между ними вместе с их вращением создают постоянную гармоническую мелодию, «музыку сфер», которую мы не слышим только потому, что к ней привыкли. Поэтому передвинуть Землю означает сломать небесную гармонию. Высказывание Архимеда в этой логике звучит примерно как «дайте мне топор, и я испорчу роаль».

Античное понимание вопроса о рабочих выглядит даже ближе к современному, чем марксистское. Рабочие – это не те, кто занимается физическим трудом, это те, кто творит то, чего не было. Роботы заменили рабов, и их изначальная «креативность», которая возникла у Маркса, вылезла наружу в отчетливом виде. Разница лишь в негативном ее восприятии.

Но сам комплекс идей примерно тот же: рабочие создают то, чего не было, они выходят за границы существующего социума (их даже в гражданах берут не везде), они разрушают существующий мир.

Это и есть их ценности. Напомню, что шудры – это единственная из четырех каст, у которых нет своего божественного покровителя. Мир есть, но у них там нет места. Отсюда потребность разрушить существующий порядок, «модернизироваться», устроить революцию, изобрести новое. Шудрам изначально нечего терять, кроме своих цепей.

4. Торговцы

Деньги

Деньги не имеют прямого отношения ни к архитектуре, ни к урбанистике. Тем не менее, если определять ценности торговцев, было бы странно ничего не сказать о деньгах. Все же схему «деньги – товар – деньги» Маркс считал основным законом капитализма.

Мозес Гесс, немецкий социалист, отчасти повлиявший на Маркса, и один из основателей идеологии сионизма, писал в своем эссе «О сущности денег»:

Деньги являются средством общения, затвердевшим в мертвых буквах, убивающим жизнь, как буква, застывшая в мертвом денежном знаке, является средством общения, убивающим дух. Язык является живым, одухотворенным средством общения, но буквы не могут играть ту же роль. Духовные деньги действительны лишь тогда, когда они органически сращены с человеком. Язык, как органическое целое, состоящее из отдельных членов, может быть органически сращен с человеком. Деньги не могут органически срастись с человеком. Деньги поэтому сравнимы с письмом не как с живым языком, а как с мертвыми буквами.

Гесс тут прямо отсылает к Адаму Смиуту. В своей великой книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит пишет следующее:

Разделение труда отнюдь не является результатом чьей-либо мудрости, предвидевшей и осознавшей то общее благосостояние, которое будет порождено им: оно представляет собою последствие – хотя очень медленно и постепенно развивающееся – определенной склонности человеческой природы, которая отнюдь не имела в виду такой полезной цели, а именно склонности к мене, торговле, к обмену одного предмета на другой.

В нашу задачу в настоящий момент не входит исследование того, является ли эта склонность одним из тех основных свойств человеческой природы, которым не может быть дано никакого дальнейшего объяснения, или, что представляется более вероятным, она является необходимым следствием способности рассуждать и дара речи. Эта склонность обща всем людям и, с другой стороны, не наблюдается ни у какого другого вида животных, которым, по-видимому, данный вид соглашений, как и все другие, совершенно неизвестен.

Если упростить, то здесь сказано следующее: способность к обмену есть свойство человека, отличающее его от животного, такое же свойство, как язык. Это мощнейшая апология капитализма. Получается, что построение общества свободного обмена есть, так сказать, установление естественного для данного вида животных порядка мироздания. Иосиф Бродский сформулировал максимум о поэзии как видовой цели человечества, а у Адама Смита этой целью является обмен. Кто не способен к обмену, тот не вполне человек.

Но у Гесса сопоставление обмена с речью заострено, он вводит сюда язык обмена – деньги, и тут же пытается его деконструировать. Это интересно с позиций семиотики. Классики российской семиотики исследовали множество знаковых систем – от семиотики естественных языков до семиотики кухни, – но работ по семиотике денег я не знаю. Это свидетельствует о поразительном бессребреничестве настоящих ученых – вопрос их не интересовал в принципе.

Но, с другой стороны, нельзя не признать, что деньги являются знаками. И даже довольно существенными для человека знаками, имея в виду их употребимость.

При этом Гесс странно ставит вопрос. Что дает сопоставление денег с буквами, если внутри одной денежной системы мы имеем дело только с одним знаком, изменяющимся количественно? Ведь рубль и два рубля – это не две разных буквы, это одна и та же буква два раза. Что это за алфавит, который состоит из одной буквы?

Я не хотел бы сейчас пересказывать построения классической экономики о соотношении цены и стоимости, стоимости и ценности, стоимости и труда, прибавочной стоимости и т. д. Что значат два рубля? В чем смысл этого знака?

Теория происхождения денег довольно много, но мне кажется, наиболее глубокое культурологическое объяснение дает Карл Поланьи. Он обращает внимание на эволюцию денег по следующему сценарию (излагаю его в обратном порядке). Бумажные деньги произошли из металлических, металлические «универсальные» деньги (те, на которые можно купить что угодно) произошли из «частичных» денег (тех, на которые можно было купить лишь определенный тип товара). «Частичные» деньги из драгоценных металлов в архаической Греции и на Древнем Востоке использовались для покупки роскоши и любви женщин (одноразовой или на постоянной основе). За другое платили скотом, зерном, рабами, при этом одно не конвертировалось в другое. Сам факт, что цена корабля составляла некоторое количество рабов, а цена пряностей, которые он привез, энное количество золота, но при этом пряности не покупают за рабов, а корабль – за золото, уже многое объясняет в процессе семиозиса. Конкретный ряд одних вещей сопоставляется с рядом других вещей, и одно начинает значить другое. Это простой процесс. В этой системе попытка купить пряности за рабов аналогична попытке назвать стул словом «стол» – вас просто не поймут. Деньги из драгметаллов значат любовь женщины, а не зерно – за зерно женщина не полюбит.

Поланьи далее делает нетривиальный шаг и выводит это означивание из первобытного обмена подарками. У жителей Тробрианских островов, которых в 1910-е годы исследовал великий антрополог Бронислав Малиновский, дары были двух видов – ожерелья и браслеты. Человек дарил некоторое количество браслетов и получал в ответ ожерелья (и наоборот). Это близко к «частичным деньгам», но обмен подарками недостаточно регулярен, чтобы сказать, сколько стоит ожерелье в браслетах и наоборот, – соотношения меняются. Кроме того, ни ожерелья, ни ракушки нельзя обменять ни на что другое, а ни ожерелья, ни браслеты аборигенам сами по себе не нужны – их не носят, их только меняют. Тогда вопрос: что дает обмен?

Он дает потенциальную обязанность. Если тебе подарили браслеты, то ты чувствуешь некоторую обязанность отдариться, и каждый из нас, получая подарки, знакомится с этим чувством – отдариться в нефиксированной пропорции, в нефиксированное время, но отдариться. Иначе ты чего-то должен, а это неопределенное долженствование оборачивается зависимостью. Все же неудобно делать вид, что ты не знаком с человеком, который тебе что-то подарил и ты это принял. Стремление человека к выгоде, которое ставил в основу *homo economicus* Адам Смит, меняется на стремление человека к свободе от обязанности, стремление избавиться от нефиксированного долженствования.

Тогда можно вернуться обратно по эволюционной лестнице и понять, что означает знак «два рубля».

Когда я дарю тебе подарок, а ты должен отдариться, есть два подарка и два субъекта. В частичных деньгах за счет того, что транзакций множество, фиксируется пропорция – корабль обменивается на 40, а не 140 рабов, потому что все так делают. Курс обмена фиксируется, однако круг обмениваемых предметов ограничен – калым за жену выплачивается золотом, а не рабами. Это неудобно, и постепенно формируются универсальные деньги.

В универсальных деньгах происходит отчуждение и товаров, и субъектов. Два рубля означают, что произвольный субъект (любой человек, который их возьмет) произвольному субъекту

екту (любому, кто их заплатит) должен передать произвольный объект на два рубля. То есть деньги – это пропорция взаимного долженствования.

Это фантастический знак, он обладает невероятной степенью абстрактности. Он отчужден от всякого конкретного значения. Разумеется, и Адам Смит, и Мозес Гесс совершенно правы, сопоставляя обмен с языком в том смысле, что если бы не язык, *homo sapiens* никогда не был бы способен создать столь сложную систему.

Однако с семиотической точки зрения значение денег становится более понятным в свете противопоставления «языка» и «речи», которое ввел Фердинанд де Соссюр.

Язык – это знаковый механизм общения, речь – это использование этого механизма для общения. Их отличия многообразны, но в частности они заключаются в том, что в языке есть знаки, которые не значат ничего определенного, а получают конкретное значение только в речи. Они называются деиксисами. Например, слово «я» ничего не значит, пока его кто-нибудь не скажет.

Мне кажется, что деньги как знаки – это именно деиксисы. Этот деиксис имеет три пустых валентности – покупатель, продавец и товар, – которые в акте обмена («речи») получают конкретное значение. Они становятся знаком долженствования конкретного продавца перед конкретным покупателем относительно конкретного товара в акте обмена.

Это абстрагирование можно назвать иначе – отчуждением. Мозес Гесс ненавидел деньги, считал, что при коммунизме их не будет, и отсюда выдал точную формулировку. «Деньги – это продукт взаимно отчужденных людей, отрешенный вовне человек». Но если считать деньги ценностью торговцев, нельзя ли сказать, что их главным навыком является отчуждение? Это бы многое объясняло в их ценностях.

Площадь

«На Красной площади всего круглей земля» – хотя Осип Манделъштам произнес это в тяжелый момент своей жизни, но образ площади, проявляющей шарообразность Земли, представляющей нам Землю как шар, – это гениально. И я не представляю себе ни одной европейской площади, где бы это можно было увидеть так же. Даже площадь Сан-Марко, «самый прекрасный бальный зал Европы», по определению Наполеона, показывает нам весь город Венецию, но не Землю как таковую.

Зато, пожалуй, я назову некоторое количество площадей восточных с похожими качествами.

В 1711 году Корнелис де Брюйн, голландский путешественник, художник и писатель, совершил путешествие в Индию и Иран через Россию, описал его и издал со своими рисунками. В отличие от д-ра ист. наук В.Р. Мединского я не считаю это сочинение окончательно клеветническим, впрочем, в любом случае меня интересует не Россия, а Иран. Де Брюйн попал в Исфахан при Солтане Хусейне, последнем падишахе из династии Сефевидов, азербайджанской (или курдской, или туркоманской) династии правителей Ирана. Через десять лет после путешествия де Брюйна Хусейна свергнут афганцы, начнутся безобразия, но в тот момент Исфахан – огромный процветающий город.

На одной картинке де Брюйна этот город – огромное пустое место со строениями по краям. На другой – «Вид Майдана» – это некий холм, как бы лысый череп земли, укрытый бесконечными тряпичными навесами, под которыми торгуют, а скорее даже как-то живут торговцы. Тут и там появляются верблюды.

Был такой русский, а впоследствии американский историк Михаил Иванович Ростовцев, исследователь Рима и римского Востока. Ему принадлежит термин «караванные города». Это те, которые возникли на пути из Китая и Индии в Европу, их десятки, и жизнь их длится от античности до позднего средневековья. Европейские торговые города (как Брюгге или Амстердам) возникали вокруг портов, но пустыня – то же море, только вместо кораблей – верблюды, а вместо порта – майдан. Это огромные пространства. Они совершенно несопоставимы с размером города, жители города – это фактически обслуживающие майдан местные рабочие, а караваны останавливаются на самом майдане (или, позднее, в караван-сараях) во временных палатках. Когда караваны уходят, город оказывается совершенно пустым. В сущности, это город для кочевников, пасущих товары.

Вот в этих городах и появляются площади, размеры которых позволяют заметить округлость земли. Позднесредневековая Москва – место встречи Востока и Запада, между европейским замком, *castello*, как называют Кремль иностранные путешественники, и *città* (откуда, как мне нравится думать, название Китай-город) располагается бескрайнее пустое место, нынешняя Красная площадь, русский майдан, как бы помнящий о бескрайних пространствах, где движутся купеческие караваны. И все средневековье она была заполнена телегами с товарами, которые подвозили в Москву купцы.

В русском языке возникла смешная аберрация: английская *square* превратилась в «сквер», потому что их *square* – это, конечно, никакая не площадь, она не доросла до нужного размера, это разве что сквер. Размер площади европейского города обычно около 100 метров в длину, это же максимальный размер квартала – и площадь, собственно, и представляет собой пропущенный застройкой квартал. По русским, или ташкентским, или исфаханским меркам она крошечная, там не поместится и 50 верблюдов. Но у нее иная функция – на ней должно помещаться местное население, собирающееся для решения своих коммунальных вопросов. Верблюдов и не предполагается. Эта площадь – порождение не кочевой торговли, но оседлой коммунальности. И даже тогда, когда мы имеем дело с великими городами, как Венеция

или Сиена, это все равно камерное по азиатским меркам событие. «Прекрасный бальный зал Европы» – это все же бальный зал, бал – это мероприятие не для чужих караванов, но для своих гостей.

Конечно, и в Европе были торговые площади, но они делались по образцу и подобию вот этих, коммунальных. Главная торговая площадь Венеции – это площадь рядом с мостом Риальто, и по сравнению с Сан-Марко это крошечное пустое место в плотной сети переулков и дворцов. Что соответствует некоей иерархии ценностей, где бал стоит несколько выше базара.

В урбанистике есть понятие «общественное пространство», и сейчас все влюблены в эти пространства. Определение общественного пространства в любом тексте начинается со слов: это не только площадь, но и улица, бульвар, набережная и т. д. И из этих слов как бы отчаянно прорывается: это прежде всего площадь, площадь и еще раз площадь. Я вообще-то не уверен, что общественное пространство – это самое большое достоинство города, поскольку главная его функция – социальный контроль. Жизнь на площади – это жизнь под социальным контролем, и, собственно, ее основная функция – в экспликации правил контроля, принятых в данном социуме.

Но, даже учитывая это обстоятельство, признаем, что социальный контроль на базаре и на балу – это несколько разные вещи. Коммунальные площади европейских городов работают как своеобразные открытые гостиные, и сам обиход – кафе, столик, официант – примерно те же, что в лобби гостиницы или на приеме. Правила базарной площади определяются торговой культурой, а караваны купцов непредставимы без разбойников. Часто (как в варяжской – то есть русской – торговле) это вообще одно и то же, и майдан – место не то чтобы бранное, но не без того. На приемах редко разговаривают матом, а на базарной площади редко без него обходятся. В гостиной трудно представить себе вора-карманника, а щипач на базаре – это древняя и в известном смысле респектабельная профессия, требующая таланта и обучения. Дико представить себе наряд полиции, пришедший на бал. Это выглядит так же скандально, как Красная площадь без полиции – как? где? что случилось?

Социальный контроль – он же и мера свободы. Коммунальная площадь – это пространственное выражение устойчивой формулы «воздух города делает свободным» (по мнению чудесного русского медиевиста Аллы Ястребицкой, ее сочинил Якоб Гримм, один из братьев Гримм). Сегодняшний урбанист скажет «воздух города делает обязанным». Коммунальная жизнь – это бесконечное перераспределение тягот и обязанностей, бюргеры постоянно решают, кто на этот срок выбирается в тот магистрат, кто в этот, кто какие налоги в каком году платит, кто отвечает за вывоз мусора, а кто – за ремонт стены. Тут особенно не оторвешься.

А майдан – это воля. Ты обмениваешься с другими, незнакомыми тебе людьми, и не только деньгами и товарами – еще и социальным вниманием, новостями, необычным поведением, настроением. На майдане встречаются потребители и производители чудес, здесь можно увидеть и клетку с котом с надписью «зверь, именуемый кот», и бородатую женщину, и мужика, прибывавшего к брусчатке свою мошонку для отъезда во Францию.

Естественно, власть – а, как написал Спиро Костоф, «рано или поздно власть приходит на любую площадь» – стремится как-то контролировать эти отношения свободы и обмена. Но контролировать свободу собраний на приемах и балах – это не то, что контролировать вольницу на майдане. Одно дело промасленная ветошь, другое – пороховой склад: одно иногда и очень медленно воспламеняется, а другое взрывается мгновенно. В одном случае – как на Уолл-стрит – власть применяет дубинки, а в другом – как на Тяньаньмэнь – танки. Россия между Востоком и Западом, поэтому русское предъясвление власти на площади своеобразно.

Если мы посмотрим на историю Красной площади, то в социальном смысле вся она, начиная с указа Бориса Годунова, повелевшего убрать все торговые палатки, запретить торговлю с телег и вытеснить весь этот сброд в торговые ряды, из которых вырос ГУМ, и до возбудившихся до состояния нервного срыва чиновников и депутатов, выкинувших в 2013 году с Крас-

ной площади выставочный павильон Louis Vuitton, – это история зачистки Красной площади от вольных торгующих элементов. Идеальная русская площадь – пустая, зачищенная поверхность перед райкомом, горкомом, обкомом и, наконец, Кремлем. Учитывая цену городской земли, это довольно роскошно. Репрезентацией власти является пустота. Пустота без конца и без края, безграничная пустота.

Это бесконечно далеко от идеалов *friendly city* и, я бы даже сказал, несколько бесчеловечно. В конце XIX века российская власть осознала это обстоятельство и стала засаживать бесконечную пустоту площадей Санкт-Петербурга какими-то кустиками и сквериками – так появились Адмиралтейский сад или сквер Александринского театра. Полагаю, что в известном смысле нынешнее благоустройство можно рассматривать как продолжение той же традиции. Тут есть минусы и плюсы. Сказано же, что враждебные элементы лучше уничтожать на дальних рубежах, а не ждать, пока они заявятся к тебе на площадь.

Но вот парадокс. В 2009 году я в силу странных жизненных обстоятельств оказался членом градостроительного совета «Сколково». Жак Херцог и Пьер де Мерон с одной стороны въездной площади проектировали университет, Жан Пистр с другой проектировал огромное, напоминающее терминал аэропорта здание технопарка. Саму площадь длиной в полтора километра они оставляли совершенно пустой, она открывалась в поля, в горизонт, где маленькой букашкой маячило здание МГУ. Дорогие Жан, Жак и Пьер, убеждал я их, а нельзя ли нам маленькую, уютную, закрытую европейскую площадь, площадь-гостиную, зальную площадь. Это так по-европейски, так по-университетски! У нас такой ни одной нет! Они негодовали и высмеивали мою провинциальность. Посмотрите, какой здесь простор! Какое величие! Какое единение с природой!

Площадь, которая предьявляет шарообразность Земли, – наше национальное достояние. И на ней торгуют как воюют.

Праздник

Казалось бы, очевидно, что городские праздники – наследники архаических, сельскохозяйственных, календарных. Современные праздники привязаны к церковным, те в свою очередь – к языческим, к праздникам урожая. Праздник – дело известное. Праздник – это «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья» (М. Бахтин). Это институт обнуления социальной иерархии. Институт единения общины, институт превращения ее в коллективное тело. Институт отсчета социального времени.

Это правда, но есть существенное отличие. В деревне люди изначально друг другу не чужие. Половина – родственники, все друг другу знакомы. В городе никто никого не знает. Город, как справедливо написал когда-то Макс Вебер, – это поселение изначально чужих друг другу людей. До объединения в коллективное тело тут дело не доходит, дай бог запомнить, как соседей зовут.

Как тут вообще возможен праздник?

Эмилия Кустова, исследователь советских массовых зрелищ эпохи авангарда, так описывает демонстрации 1920-х годов:

Предприятия выходили на демонстрацию, неся символы своего производства. В качестве таких символов использовались орудия труда, станки, продукция – настоящие или в виде их увеличенных макетов. Шли броненосцы, вагоны, печатные машины, мельницы, паровозы. Над толпой реяли колоссальные папиросы, сапоги, карандаши. В рядах демонстрации ехали автомобили и повозки, на которых разыгрывались короткие инсценировки, пантомимы, кукольные представления, «живые картины», а порой демонстрировались обычные трудовые процессы. Вот над толпой работает колесо «Русского дизеля». Вот фабрика Бебеля показывает свое скромное и нужное производство: на глазах у толпы работница делает щетку. Молочная ферма устроила на грузовике ясли, и добродушная и спокойная морда коровы смотрит вниз на толпу.

Я наткнулся на это описание в поисках аналогий для картины «Купание красного трактора» из открытия Олимпиады в Сочи. Гигантская голова колхозницы из «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной, проплывшая над стадионом, немного напоминает, мне кажется, эту добродушную корову. Впрочем, описание подходит для многих событий. Сравните с памятным парадом, который устроил Петр Павлович Бирюков на день города в 2016 году: «Длина колонны составила около 2 км. В нее вошли более 680 единиц специальной техники, в том числе поливальные и уборочные машины, вакуумные пылесосы, мусоровозы, эвакуаторы, бетономешалки и автокраны».

Более или менее очевидно, что этот пронос происходит из религиозных процессий. На Сицилии, например, в зависимости от посвящения церкви, приходы в процессиях несут статуи святых или скульптурные группы, изображающие их мученичества. Скажем, в Катании, городе святой Агаты, в процессиях несут ее груди (отрезанные во время мученичества), и манифестанты соревнуются в том, у кого они лучше и больше, а посторонних зевак кормят пирогами в форме тех же грудей (*minne di Sant'Agata*). Это немного напоминает рабочих «Русского дизеля», несших свой важный предмет.

Юрий Михайлович Лотман любил приводить в пример проект Джонатана Свифта из «Путешествия Гулливера в Лапуту».

Для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Единственным неудобством

является то обстоятельство, что, в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с вещами. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились.

Эта идея, по мысли Лотмана, иллюстрировала множество аспектов знаковой логики, в частности тягу Просвещения уйти от лживости слов к честности вещей – ведь, говоря вещами, обмануть трудно. Но отчасти действия свифтовских мудрецов напоминают городские праздники: кажется, что эти люди, несущие над головами экзотические предметы, таким образом разговаривают друг с другом. А может быть, и с тобой.

Наблюдающий город со стороны – до известной степени социопат, и городской праздник для него – испытание более или менее травмирующее. В параде вакуумных пылесосов, гигантских карандашей и груд грудей есть нечто, заставляющее почувствовать себя чужим на празднике жизни. Возникает ощущение, что эти несуну что-то хотят тебе продать. Не знаю, почему Лотман об этом не упоминает, но то, что описал Свифт, больше всего похоже на процесс бартерной торговли. Власть тебе хочет продать образ снегоуборочной машины, церковь – образ мученичества за веру. Тебя будто дергают за рукав и говорят: купи, купи, слаще не бывает.

По происхождению эти несомые предметы – вотивные дары, которые несут в храм во время религиозных процессов. «Представь же себе и то, что люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева», – говорит Платон в «Государстве», поясняя свою мысль о том, что все вещи – тени своих метафизических прообразов. И мы, конечно, живо себе это представляем, памятуя наши демонстрации. Но в жертве богам и торговле есть нечто общее. *Do ut des.*

Был такой великий арабский путешественник XIV века ибн Баттута. Проездом из Алжира в Малайзию он оказался в Золотой Орде и оставил колоритное описание торговли на крайнем севере этой обширной земли.

После 40 дней пути путешественники останавливаются в земле мрака; там они раскладывают свои товары, а сами удаляются на недалекое пространство; на следующее утро они приходят на то место, где оставили свои товары, и находят меха соболей, белок и горностаев, выложенные рядом с их товарами, как предлагаемую в обмен за товары ценность. И если владелец товаров будет доволен, то он берет меха; в противном случае оставляет их нетронутыми. Если в следующий раз сделают прибавку мехов, то он наконец принимает их взамен товаров. Таким-то образом происходит там купля-продажа: путешественники даже не знают, с кем они ведут торговлю, с людьми или духами: потому что никого они не видят в лицо.

Представьте: вечная тьма, лед, ты выкладываешь на снег свои подношения и удаляешься, а потом боги тьмы и холода одаряют тебя соболем и горностаем. Это не очень торговля – немного священнодействие.

Платон в том же «Государстве» прямо высказывается против того, чтобы пускать торговцев в город, рекомендуя построить отдельное место в отдалении. И ровно так сделано в Афинах, где есть сам город, а есть Пирей. Цицерон повторяет Платона, и это соответствует структуре римских поселений, где отдельно выделяется *emporium* – для купцов. Ранние европейские ярмарки располагаются не внутри города, а рядом, за стенами – их не впускают внутрь. Ино-

гда, как в будущих ганзейских городах, они образуют отдельные торговые поселения рядом с существующим городом.

Торговля – это всегда обмен с чужими. Свои друг с другом не очень и торгуют – у них все одно и то же. А чужие – всегда немного «царство тьмы». Но в городе, напомним, все чужие. Тут на празднике не только танцуют и поют похабные частушки, ублажая злых духов нестроения для конечного торжества добрых духов устроенности. Тут прежде всего торгуют, и городской праздник – это всегда ярмарка. Больше того, торговля определяет, как танцуют и поют.

Есть такой предмет – история Венеции. Там, в общем-то, грустная канва. Сначала, в V-X веках, – это поселения на болотах жителей Римской империи, убежавших туда, куда готы на лошадях не сумели переправиться. Потом, в X-XIV веках, в силу промежуточного положения между Византией и Западом, – величайшая торговая республика мира. А потом – захолустье без политического влияния и денег. Зато бесконечное веселье, театр, главный публичный дом Европы. Карнавал длился по полгода – в масках ходили на рынок, в церковь и в суд. И каждый раз, читая эту историю, думаешь, как же так: сначала Энрико Дандоло, захвативший Константинополь, Леонардо Лоредано, победивший Юлия II, императора Максимилиана и Людовика XII, великое искусство, великое богатство, а потом – одни Лучинды с Коломбинами.

Но дело в том, что торговля – это всегда немного в маске, там «никого не видят в лицо» по самим условиям игры. И когда исчезает поток товаров, навык, культура поведения все равно остается. Ярмарка не бывает без балагана, цирка, театра. Торговля – это школа отчуждения (сам термин *alienation* может означать выброс товара на рынок). Отчуждаются вещи, деньги, обязательства, отношения. Чтобы торговать, никто ни с чем не должен быть кровно связан.

Актеры странствуют с купцами не потому, что цирк, театр, балаган и карнавал кормятся с потока покупателей. Они учат людей отчуждению от самих себя, учат, как продавать свой облик. В городе неэффективно быть самим собой. Никто не должен быть представлен во всей полноте своей личности и статуса – иначе, как это получилось в «Политике» Аристотеля, цена товара должна зависеть от личности продавца и покупателя, а так много не наторгуешь. Никто и не может быть представлен в этой полноте, ведь город – это пространство анонимности, здесь никто не знает друг друга в лицо. Маска – это и есть анонимное лицо с характером. Это школа «частичного человека», «одномерного человека», как это определял Герберт Маркузе. Частичный человек – это и есть роль, маска. Эти дизели, карандаши, груди, которые люди носят на демонстрациях, – те же маски, только над головой. Люди пытаются докричаться до тебя своими субститутами, чтобы сообщить, какую роль они сегодня продают.

Это и есть смысл городского праздника. Городской праздник – это ритуал предъявления чужих людей друг другу. Это постановка в «обществе спектакля», как это определял Ги Дебор. Только по недоразумению, в силу аграрных пережитков в головах руководителей некоторых поселений, городской праздник пытаются проводить в духе «единения всех горожан». Это не праздник единения, это праздник отчуждения и обмена ролями.

Поэтому если ты чувствуешь себя чужим на этом празднике жизни – это значит, что все хорошо. Праздник удался.

Универмаг

Александр Аузан, один из главных и блестящих проповедников идей институциональной экономики в современной России, в своей книге «Экономика всего» пишет:

Когда вы приходите на рынок покупать зелень, вы торгуетесь, а когда приходите в супермаркет – не торгуетесь. Почему?

...Как ни странно, здесь действует самый что ни на есть неформальный институт, причем мы довольно точно знаем, когда и где он появился: в 1854 году в городе Париже, когда был открыт первый в мире универсальный магазин.

Когда же люди приняли на себя дополнительный запрет – не торговаться в универсальных магазинах, оказалось, что этот запрет открывает очень большие возможности. Во-первых, появились условия для крупной, массовой, дешевой и разнообразной торговли, когда продает товар не тот, кто им владеет. Во-вторых, любой мужчина и ребенок получили возможность пойти и чего-нибудь прикупить. Фактически это стало началом потребительской революции.

1854 год – это условная датировка. Аристид Бусико, которого принято считать первооткрывателем этого типа торговли, в 1852 году стал акционером будущего магазина Au Bon Marché, а к 1854-му выкупил акции у своих партнеров и стал единоличным владельцем магазина. Он постепенно расширялся, в 1869-м был куплен участок напротив магазина (на углу улиц Бак и де Севр) и началось строительство нового большого корпуса по проекту Густава Эйфеля. Новый магазин открылся только в 1887 году.

Даты тут важны, поскольку есть вопросы приоритета. В 1853-м Ксавье де Рюэль основал Bazar de Hôtel de Ville (BHV), в 1855-м открылся «Лувр», в 1865-м – Le Printemps, Samaritaine был основан в 1869 году, Galeries Lafayette в 1895-м. При этом Александр Терни Стюарт открыл в Нью-Йорке свой Marble Palace в 1848-м.

Однако именно в магазин Бусико пришел Эмиль Золя с замыслом романа «Дамское счастье», в котором он описал великую торговую революцию (в магазине хранят письмо Золя с просьбой о сотрудничестве). Похоже, именно это обеспечило приоритет Au Bon Marché в датировках.

Суть нового института Александр Аузан описал точно, выделив главное, что отличало магазин Au Bon Marché от его предшественников (и опустив массу других нововведений Бусико – скидки, распродажи, мерчандайзинг, возврат товара, торговлю по каталогам, – которые обычно перечисляются в биографиях этого гениального человека). Главное в том, что у Бусико не торговались. Это был магазин с фиксированными ценами.

Это изобретение принципиально изменило характер торговли. Если провести аналогию с процессами, которые происходили в производстве, то смена городской лавочки с одним видом товара и десятком покупателей в день на универмаг, где можно купить все и покупают толпы, – это то же самое, что смена мастерской ремесленника на завод. В этом смысле можно говорить об индустриализации торговли. С одним существенным отличием: в основе революции лежало не новое техническое изобретение, не паровой двигатель или ткацкий станок, а институциональная новация – фиксированная цена.

У нее масса преимуществ.

Это экономия на времени транзакции: покупка могла осуществляться мгновенно по сравнению с долгим процессом взаимной торговли о цене. Это мультипликация компетенций торговца. Вместо хозяина лавки, который сам в процессе каждой покупки соизмеряет

свои затраты и прибыль с фигурой покупателя, возникают сотни людей, которые могут продавать, не имея никакой специальной коммерческой подготовки. По сравнению со средневековым торговцем, который должен был знать правила бухгалтерского учета, курсы десятков европейских валют, ситуацию на рынке, историю своих отношений с данным конкретным клиентом, – это невероятная демократизация профессии. Все эти знания отливаются в фиксированную цену и тиражируются произвольным количеством людей в произвольном количестве транзакций. Это демократизация покупателя. Само название романа «Дамское счастье» объясняет суть революции с точки зрения покупателя. При лавочной торговле женщины были несколько поражены в правах, поход в незнакомый магазин или на рынок для благородной дамы был занятием не вполне приличным, она не должна была туда идти одна. Революция позволила женщинам покупать самим и публично (как, впрочем, и мужчинам). Кроме того, герцогиня и служанка, как это происходит в романе Золя, могут покупать в одном магазине и по одной цене – стираются социальные различия (что было скандальным нововведением Бусико, приведшим к выходу из бизнеса его партнеров).

В результате уничтожения социальных, гендерных и профессиональных барьеров институт фиксированной цены привел к росту продаж в десятки раз – ровно так же как появление двигателя увеличивает в десятки раз эффективность производства. Универмаг на некоторое время стал самым важным архитектурным жанром. Это было место главных архитектурных новаций. В здании Верхних торговых рядов в Москве была своя электростанция и электрическое освещение – в этот момент остальная Москва освещалась газом. Под зданием была проложена рельсовая система грузового передвижения – при том что сами товары в магазин доставлялись на телегах с лошадьми. Тут появился лифт – его привезли прямо с Парижской всемирной выставки. Тут был создан первый в Москве общественный туалет. Тут впервые сделали снегоплавильные печи.

То, как работает эта фабрика, проясняет отношения между универмагом и городом. За последние сто лет в этой индустрии произошла сначала революция, а потом контрреволюция.

В великих универмагах Европы торгующей единицей была отдельная фирма. У нее были свой профиль, репутация, клиенты, реклама, история, набор товаров. Это создает идентичность – и позволяет покупателю приобрести идентичность, а не только одежду. Но были и неудобства: человек пришел за штанами, а штаны продаются в десяти местах, и их трудно сравнить между собой.

Американцы произвели вторую революцию в торговле – они придумали *department store*. Вместо сотен фирм были придуманы отделы – департаменты. Есть отдел мужской одежды, в нем есть отдел штанов – и пожалуйста, выбирай любые. Издержки на поиски нужного товара сократились, сократилось и количество необходимых продавцов. Производительность труда резко выросла. Когда в 1953 году Анастас Микоян заново открывал ГУМ (немедленно после смерти Сталина – тот зачистил торговцев на площади так же, как и по всей стране), он перестроил магазин из классического универмага в американский *department store*. «Без продавца!» – так гордо называлась одна из статей об открытии ГУМа, и это было чудо: вместо десятка прилавков – один большой торговый зал, и в нем – только, скажем, рубашки. Это, конечно, завод нового уровня, он лучше, быстрее, эффективнее обслуживает поток.

Эффективнее обслуживает, но хуже создает. У формата великих универмагов обнаружилось преимущество.

Когда они создавались, его не было. Они строились в старом городе, и *department store* в той же среде ничем им не уступал. ЦУМ, исторический «Мюр и Мерилиз», ничем не уступал ГУМу, а ЦУМ – это *department store*. Однако когда возник модернистский город – неважно, в виде ли бесконечных многоквартирных домов или коттеджей, – то отдел, где висят бесконечные штаны, выглядел их прямым продолжением. Он был так же безнадежно однообразен. А

классический универмаг с его сотнями фирм, кафе, он был принципиально другим пространством. Он сам порождает поток – такое пространство привлекает людей.

1980-е годы – это момент контрреволюции в торговле. Это появление ТРЦ, торгово-развлекательного центра. Магазин вновь разделен на сотни отдельных фирменных магазинов. Кроме этого, в него включено все, что встречается в историческом городе – рестораны, кафе, кинотеатры, спортивные площадки, зимние сады, детские площадки, аттракционы, художественные галереи и т. д. Магазин перестал быть фабрикой по производству торговли. Он стал фабрикой по производству города.

Надо сказать, это изобретение, в которое вложена масса ума. Если представить себе реальную городскую среду спального района и сравнить ее с тем, что вы имеете в торговом центре, то это земля и небо. Там всегда светло. Там прекрасный климат. Там воздух пахнет кофе, духами и деньгами. Там все в двух шагах и на каждом шагу чудо.

Но надо понимать, что это именно фабрика по производству города, а не сам город. ТРЦ – это возгонка городской среды до состояния производства денег. Поэтому все городские процессы здесь усилены, интенсифицированы и оптимизированы.

К сожалению, не только те, которые приводят к увеличению оборота и прибыли.

Люди в городе чаще друг с другом не знакомы, но на конкретной улице все же образуются какие-то знакомства, сообщества, социальность. В торговом центре анонимность усиливается стократно – никто никого не знает и не интересуется узнать, это вообще лишнее. Если к вашим соседям пришли воры, есть вероятность, что вы проявите какую-то активность. В торговых центрах задерживают массу воров, но не с помощью посетителей – они этого не замечают, и не должны, и это не их дело. В городе люди не очень чувствуют себя ответственными за его состояние – их мало интересует, если где-то треснул асфальт или погас свет, на это есть специальные службы. Но на своей улице все же, если случилось какое-то нестроение, жители начинают волноваться. А сегодня создаются специальные городские порталы, где граждане сообщают о замеченных неприятностях – и их к этому постоянно призывают. Но в торговом центре это никому не приходит в голову. Безопасность – дело не людей, а охраны, ведь если покупатели начнут думать о безопасности, они отвлекутся от покупок.

И, с другой стороны, этот концентрат городской среды бьет реальный город как хочет. Причем бьет не в теоретическом поле конкуренции, а буквально. Это нечто вроде нейтронной бомбы, которая выжигает вокруг себя любую городскую активность, кроме сна. Обычное пространство вокруг них – это пустырь под парковку, а вокруг только коробки для спален – склады для покупателей. Ни кафе, ни лавок, ни магазинов на километры вокруг. Если бы удалось изобрести торговый центр, в котором покупатели могли бы и спать, опустели бы и дома.

Такое вот эффективное, очень умное и печальное изобретение.

Улица

«Я видела его только однажды, на слушаниях... Он пришел ненадолго. Никому из нас не удалось выступить, потому что чиновникам всегда дают высказаться первыми, и они уходят, не выслушав людей. Он был в ярости. Он говорил: „Никто не имеет ничего против – никто, никто, никто, только эта кучка мамаш!!!“» Так Джейн Джекобс описывает свою встречу с «главным строителем» Америки Робертом Мозесом. Каждый, кто бывал на общественных слушаниях, легко узнает эту сцену.

Нельзя сказать, что Роберт Мозес был человеком Ле Корбюзье, а если бы им случилось поработать вместе, то скорее это Корбюзье стал бы человеком Мозеса. Но он был человеком поколения Ле Корбюзье. Его страсть к большим магистралям, модернистским небоскрегам (ему Нью-Йорк обязан зданием ООН), общественным паркам, спортивным полям в городах – это все программа Корбюзье.

Степень ярости Мозеса на встрече с Джекобс можно себе представить. Он к середине 1960-х провел в Нью-Йорке два ЭКСПО, создал десятки парков, построил мосты и хайвеи, каскад гидростанций, десять больших открытых плавательных бассейнов и т. д. Джекобс была пятидесятилетняя дама, мать двоих детей, журналистка-фрилансер, пишущая про городскую жизнь. Она разрушила планы человека, которого за двадцать лет до описываемых событий не смог победить сам Франклин Рузвельт (президент хотел строить в Нью-Йорке дороги, Мозес построил 16-километровую парковую зону на Лонг-Айленде). Думаю, с того времени знающие люди на слушаниях выставляют против профессионала, чей авторитет не подлежит сомнению, общественницу-интеллектуалку, мать двоих детей.

Она непобедима, если за ней стоят кучи матерей одного с ней круга и возраста. Улицу оценило следующее за Корбюзье поколение, люди 1968 года. Оно разочаровалось в больших проектах большого бизнеса по технологическому преобразованию мира, но продолжало верить, что его можно преобразовать через ценности новых коммун и традиционных городских сообществ. Их левый идеализм, кстати, до сих пор окрашивает главные тезисы урбанистики. Но тут важнее другое. Улицы оценили тогда, когда их потеряли.

Джекобс оставила впечатляющее описание того, как работает традиционная городская улица.

Казалось, он (мужчина. – *Г.Р.*) добивается, чтобы девочка пошла с ним. Он то умасливал ее, то принимал вид напускного безразличия. Девочка стояла, прямая и напряженная, как часто стоят сопротивляющиеся дети, у стены одного из дешевых многоквартирных домов на той стороне улицы.

Наблюдая сцену в свое окно второго этажа и думая, как мне вмешаться, если потребуется, я вскоре увидела, что могу не волноваться. Из мясного магазина на первом этаже того самого дома напротив вышла женщина, которая ведет там торговлю вместе с мужем. Скрестив руки на груди, с решительным лицом она встала в пределах слышимости от мужчины и девочки. Примерно в тот же момент по другую сторону от них с твердым видом появился Джо Корнакья, который вместе с зятьями держит магазин кулинарии. Из окон дома высунулось несколько голов, одна быстро втянулась обратно, и несколько мгновений спустя ее владелец вырос в дверном проеме позади мужчины. Двое посетителей бара рядом с мясным магазином подошли к двери и стали ждать.

На моей стороне улицы слесарь, торговец фруктами и владелец прачечной вышли из своих заведений, и из нескольких окон, кроме моего, за происходящим смотрели жильцы. Сам не зная того, незнакомец был окружен.

Никто не позволил бы ему утащить девочку, пусть даже все видели ее в первый раз.

Этот фрагмент процитирован сотни раз. Образ девочки, спасенной городской средой из лап маньяка, несомненно впечатляет, Мозесу на такое отвечать нечем. Образ доброго старого мира, где люди живут одной соседской общиной, дети в безопасности и все вообще в безопасности, не поддается рациональной критике (разве что вспомнить, что такие среды являются стандартными мизансценами для фильмов с тегами *#драма*, *#триллер*, *#криминал* – образ «Джо Корнакья с зятьями» туда отлично вписывается). Но мне важнее, что этот старый добрый порядок совсем не старый. Он вообще возник в Новое время.

В описанной в прошлом очерке истории про рождение универмага есть одно странное обстоятельство. Да, понятно, лавки торгуют не всеми видами товаров, а только какой-то разновидностью – кто-то женскими шляпками, а кто-то индийскими пряностями. В лавках торгуются, и нездешний человек получит товар совсем по другой цене, чем уважаемый член местного сообщества. В лавках торгуют в кредит, и чем величественнее покупатель, тем срок кредита дольше – иногда долги лавочникам выплачивают наследники покупателя. Эффективность универмага по сравнению с таким конкурентом выше на порядок.

Странность не в гениальности Бусико, отменившего все эти несообразности. Странность в поведении лавочников. Понять, что кредитование покупателя за счет продавца невыгодно, – это не сложно. Равно как и то, что чем больше у тебя в лавке выбор, тем больше покупателей и лучше продажи. Отчего владельцам лавок все это не приходило в голову раньше? Или приходило, но они как-то не решались пойти на эти очевидные шаги?

Великий французский историк Фернан Бродель с ошарашивающей основательностью доказал, что городская лавка – поздний институт и до известной степени скандальный. Даже торговец как отдельная фигура – не купец-авантюрист, торгующий «на дальние расстояния», а посредник между деревней и городом – выявляется не ранее XIII века, и только в Англии, а на континенте и того позднее. При этом он сразу опознается как явление аморальное, как «перекупщики», и начиная с XIV века города предпринимают законодательные ограничения их деятельности. Правильно – это когда крестьянин из деревни или ремесленник из мастерской сам торгует на рынке плодами своего труда.

Забавно, ровно ту же средневековую логику полностью воспроизвел Ленин, когда вводил нэп. «Надо выбить прилипчивого, как пиявка, посредника между деревней с хлебом, фабрикой с товарами на складе и магазином», – пишет в феврале 1922 года «Правда». «Учиться коммерции приходилось, – пишут советские историки торговли, – имея дело с изворотливыми посредниками. Ильич, встречаясь с „красными купцами“, не раз спрашивал: „Не надуют ли они вас? Не проморгали?“ Нередко и надували» (Е.М. Каневский, Л.Г. Марголин. «У истоков советской торговли»). Коммунистическая ненависть к торговле наследует коммунальной.

Улица начинается тогда, когда на ней торгуют, – это азбука урбанистики. Но в средневековых городах торговали на рынках, на площади по определенным дням, и вместо лавок там были прилавки или лотки. Первые лавки на улицах в Европе появляются только в XVI веке и никакой специализации не знают. Там торгуют всем, от чая до тканей, и там же дают деньги в кредит. Подозреваю, что сама схема кредитной торговли в лавках рождается из того, что лавочник, меняла и ростовщик – это одно и то же лицо. Специализация возникает не раньше XVII века.

Европейские монархи в этот момент прониклись идеями «меркантилизма» – это когда государство поощряет национальную торговлю для увеличения налоговой базы. Это революция сверху – ее Бродель обозначил формулой «Лавки завоевывают мир» (конец XVII – начало XVIII века). Королевская власть навязывает лавки городу, а короли, вспомним, в этот момент совсем не горожане, между ними и городами постоянные конфликты (вспомните Фронду, которую с таким вкусом описывал Александр Дюма). Лавки возмущают горожан. «Все пре-

вратилось в лавки», – осуждает современный ему Мадрид Лопе де Вега. «Разрастание числа лавок сделалось чудовищным», – обличает Лондон Даниэль Дефо. Джентльмены ограничиваются письменными протестами – менее щепетильные бюргеры громят и грабят лавки при любых городских волнениях. Тем более что держат их часто иностранцы, итальянцы в Северной Европе, а в Центральной и Южной – вообще евреи с армянами, громить которых для европейцев было делом доблести и геройства.

Мне кажется, что все несообразности лавочной торговли, которые отменил Бусико, – это плата, которую торговцы заплатили за свое право стать частью «старого доброго порядка», который мы так любим. Торговцы «покупают» свою включенность в общину. Кредитовать покупателя невыгодно, но если все жители тебе должны, то (до известных пределов) они должны к тебе хорошо относиться. Ты живешь и даешь жить другим, поэтому торгуешь только пуговицами, нитками и иголками, а за тканями – это к соседу, я с ним не конкурирую. Это попытка решить вопрос о своей чуждости, войти в сообщество. Впрочем, история геноцидов торговых народов показывает, что сообщества могут видеть окончательное решение вопроса несколько в иной плоскости.

Наличие лавок – это симптом существования территориальных городских сообществ, поскольку сама лавка – покупка себе членства в нем. Революция Бусико – это следствие разрушения сообществ, возникновения современного «города толп». Именно поэтому с культурологической точки зрения сегодняшние попытки привить стрит-ритейл в модернистских районах более или менее обречены на провал: если нет сообщества, нет и компромисса с ним, торговый центр всегда выгоднее.

Вернемся к самому устройству улицы. Безымянный французский путешественник, в 1728 году посетивший Лондон, отмечает: «Чего у нас во Франции обычно нет, так это стекла, каковое, как правило, очень красиво и очень прозрачно. Лавки окружены им, и обыкновенно позади него выкладывают товар, что оберегает его от пыли, делает доступным для обозрения прохожими и придает лавкам красивый вид со всех сторон». Это первое свидетельство изобретения витрин. Они не могли появиться раньше из-за сравнительно позднего распространения оконных стекол (XVIII век). Оконное стекло – это, конечно, изобретение не торговцев, а власти – дворца. Но витрина – это не окно. Это стена, которой нет.

Стена, которой нет, появляется в не-доме. Лавка – это помещение, которое находится в доме, дом кому-то принадлежит, но в него может войти любой человек с улицы – и должен зайти, для этого оно и создано. Оно – ничье. И оно наполнено вещами, которые никому не принадлежат. Собственно, для этих вещей и создается это парадоксальное помещение. «Стена, которой нет» – это анти-архитектура, она постоянно меняется, может стать чем угодно.

Здания и земля выделяются среди всей массы товаров как недвижимость среди движимого имущества. Но торговля зависит от потока: чем он интенсивнее, тем она эффективнее. Ценность торговли – мобильность, и в этом смысле она прямо противоположна и ценностям власти, и ценностям жрецов. И ценностям архитектуры как фиксации во времени функции и образа пространства. Торговля заставляет недвижимость стать подвижной.

Улица – это компромисс между городом и торговлей. Это институт узаконивания присутствия чужих. Это институт существования вещей, которые никому не принадлежат, но могут принадлежать тому, кто их купит. Это институт пространств, которые принадлежат тому, кто в них находится. Это настолько сложно, что вообще непонятно, как такое может существовать.

Мы и не поняли. Это высшее достижение городской цивилизации, которое просуществовало всего-то 200 лет – с XVIII до XIX века. И мы больше не умеем их делать.

Среда

Городская среда (а лучше – среды, важно, что в городе их несколько и разных) относится к числу трудноопределимых понятий. Это понятие – часть органической теории города. Среда – это такая совокупность ландшафта, городской морфологии (улиц, переулков, площадей), зданий и людей, находящихся здесь разное время и в разное время суток, которая обладает некоторой устойчивостью не в том смысле, что не меняется, но в том, что сохраняет свою идентичность. Это похоже на экосистему, и, хотя она создается людьми, то есть искусственно, негласно предполагается, что все здесь находится в состоянии органической гармонии, как будто выросло естественным путем.

Понятие недавнее, теория города освоила его в 1970-е. Что заменяло «среду» до того? Функциональная зона.

Город делился на жилую, административную, деловую, производственную, торговую и рекреационную зоны. Иногда отдельно выделялись зоны социального обслуживания (образование, медицина, культура) и зоны технического обслуживания (очистные сооружения, водопровод, энергетика, мусор).

Такое деление города – комплекс идей индустриальной эпохи. Впрочем, отчасти зоны сохранились в теории и административной практике современного города.

Что заменяло функциональные зоны до того, как была придумана теория города-механизма?

Собственность и принадлежность. Были районы гончаров и ювелиров, были – аристократии и буржуазии, были – военных и чиновников, были королевские резиденции и все вокруг них, были порты и рынки.

Собственность и принадлежность создаются горожанами, зонирование – властью, среды растут сами собой. В этом смысле у них нет субъекта (автора). Но среды требуются поддерживать, а стало быть, кто-то должен быть заинтересован в этой поддержке. Для кого-то они являются ценностью. Для кого? В чем ценность? Понятно, что любой житель города заинтересован в поддержании своей среды. Но кто заинтересован в поддержании чужой? Кто заинтересован в разнообразии сред города?

Это довольно специфический интерес. Городские конфликты доказывают, что власть в этом мало заинтересована: она регулярно переустраивает районы устаревшей с ее точки зрения городской морфологии в пользу единообразия современности. Советская власть, уничтожившая арбатские переулки, тут мало отличается от современных властей Ташкента, уничтожающих исторические махали, властей Шанхая, зачистивших две трети города, и т. д. Власть скорее близка идее образцовых фасадов, типовых домов, стандартных планировочных решений – набор инструментов, единообразно структурирующих управление.

У вещей, явлений, феноменов, если мы относимся к ним как к товару, есть одно удивительное свойство. Они имеют разную цену в зависимости от контекста. Одна и та же вещь в бутике в исторической зоне и в стоке на периферии стоит совсем разных денег. Искусство торговли – это работа с контекстами. Место в городе – это история, которую продавец рассказывает про свой товар. И сама ценность разнообразия сред оказалась осознана тогда, когда мы вошли в эпоху постиндустриальных городов, то есть городов, чья главная ценность – это обмен (знаниями, услугами, товарами). До того такое же разнообразие скорее осознавалось как дисквалифицирующее свойство, выраженное в советской формуле «город контрастов».

Город, с точки зрения торговцев, интересен именно как разнообразие сред. Для торговцев ценно все: и спальные районы (где гипермаркеты), и исторические улицы (где живут бутики), и транспортные узлы (где большой поток людей и торговые центры), и тихие переулки (где антикварный магазин, куда заходят по звонку, но уж как зайдут – окупят его существова-

ние на год вперед). А уж как ценны для торговли различия между районами! А между городами! А между странами! Чем больше разнообразие, тем интереснее обмен. И наоборот, два идентичных объекта в одинаковых условиях друг на друга менять бессмысленно.

Можно ли выстроить город на этом интересе? Гутнов и Лежава относили торговлю к уровню «плазмы». В этом есть простой смысл: скорость изменений витрин и магазинов, вывесок и киосков действительно измеряется годами. Но есть и скрытый. А именно: каркас и ткань города как бы выше уровня торговли. Они не продаются и не покупаются – не обмениваются. Это успокоительный взгляд на положение дел. Здесь молчаливо предполагается, что в основе своей город более или менее тождественен себе, а если меняется, то эволюционирует исходя из своей внутренней логики. Но даже соглашаясь с этим, нельзя не заметить, что это очень неторговый взгляд на дело.

Мне кажется, что идея самоидентификации определяющих уровней города покоится на неосознаваемом мифе о творце и творении. Город понимается как продолжение, порождение человека или его возвышенных субститутов – высшей силы, светской власти, духа народа, нации, страны. Допущение возможности обмена здесь равносильно подмене этой духовной инстанции, что выглядит как-то мало допустимо. Власть лепит идеальное состояние из наличного положения дел. Жрецы исходят из того, что этот идеал принципиально недостижим, но считают, что на него нужно постоянно указывать, чтобы к нему приблизиться. И то и другое обеспечивает неизменность идеала. Но у торговцев принципиально иная стратегия достижения идеального состояния. Идеал есть – у кого-то. Он уже создан. Можно просто его купить.

Это предполагает совершенно иную парадигму отношений человека и творения. Когда вы покупаете себе часы IWC, они не становятся вашими в том смысле, что это больше не часы IWC, а ваши. Нет, именно то, что они часы IWC, является частью вашего приобретенного идеала. До известной степени так же дом в итальянском, английском, французском, современном стиле не теряет своей принадлежности из-за того, что они построены в Москве местным архитектором. Нет, наоборот, именно их «зарубежность» является частью их ценности, их затем так и строили. Они не хотят произрасти из родной почвы как растение-эндемик. Они хотят оставаться пересаженными.

Идеальным стилем торговцев является эклектика или постмодернизм. Глубокое неприятие этих художественных систем со стороны поклонников органического, «подлинного» творчества – ясная демонстрация того, что перед нами принципиально иной тип формообразования. И этот тип формообразования может распространяться и на каркас (знаменитые цитатные трехлучия абсолютизма – Петербург, Версаль, Рим), и тем более на ткань города.

Я говорил о стилевых заимствованиях; среда – это, разумеется, не стиль, это феномен другого ряда, однако с ее импортом проблем тоже не возникает. Благоустройство Москвы времени мэра Собянина – это импорт разнообразных сред западноевропейских городов от Барселоны до Нью-Йорка (с импортом и оригинальных мастеров, которые производили). Вместо органической формы мы получаем цитату.

Но это не значит, что подобный импорт делает город менее ценным, чем если бы он органически развивался из потаенных глубин национального гения. Нет. В городе звучит множество голосов. Это и создает разнообразие контекстов, сред, мест. И это тот навык, то цивилизационное умение, которое привносит в город торговля.

Тут возникает очевидное противоречие. Среда мыслится как феномен органический, аналог, напомню, экосистемы, и горожанин сращен с ней, как тушканчик со степью. Но при этом мы имеем дело с очевидным образом неорганическим явлением, это «чужая среда», импортированный образ, с которым не нужно сливаться, ибо его чуждость – часть его ценности. Это все равно как если бы тушканчики завели у себя в степи кусок тундры и бегали туда отдохнуть в прохладе, осознавая, что это не их место, что оно им не соприродно.

В средовой теории города принципиальной является тема городского театра, когда улицы, площади и здания понимаются как декорация, а горожане – как актеры, играющие свои средовые роли. С моей точки зрения, город как театр – это не только урбанистическое изобретение, но более конкретно: изобретение обмена, торговая ценность. Торговля не только порождает разнообразные «чужие» среды. Она порождает соприродных им неорганичных горожан, людей со множественной структурой личности, способных эти среды использовать. В театре актер не играет себя самого, его личность не совпадает с ролью. Точно так же и горожанин в этой парадигме никогда не совпадает с самим собой, но проживает множество ролей.

Я думаю, что поклонников идей среды как органического порождения человека все, сказанное выше, должно раздражать. Мы проигрываем здесь и в творческой перспективе, когда творение перестает быть эманацией внутреннего «я» автора, и в перспективе глубины восприятия, когда зритель-слушатель-житель полностью растворяется в произведении или в среде. Человек, который все время оказывается в разных контекстах, говорит, используя «чужое слово», играет разные роли, явно проигрывает целостной личности, выражающейся или растворяющейся в произведении, как осенний ястреб в небесах. Но что же он выигрывает?

Он выигрывает свободу выбора. И именно это и делает его горожанином.

И для власти, и для жрецов, и даже для рабочих важной идеей является тождество самому себе. В самых разных системах воспитания, в особенности в Новое время, в эпоху царствования идеи прогресса, главной задачей воспитания является перевод ребенка из неопределенного в определенное состояние. Жизнь представлялась забегом на дистанцию кем-то стать – кто быстрее станет столяром, музыкантом, математиком, художником. На этом основан феномен вундеркинства, который едко высмеивал Ролан Барт.

Мужчине к моменту достижения гражданского возраста требовалось получить профессию, женщине – родить ребенка. Сегодня это непопулярная идея, если не сказать – чудовищный архаизм. Наоборот, если женщина сорока лет, менеджер с МВА по экономике, решила стать художником, поступила на 1-й курс Академии художеств, не замужем и не собирается, детей нет и т. д. – это как раз и есть современный человек. Идея, что надо кем-то стать, сменилась на то, чтобы никем не становиться окончательно. Время – валюта твоей жизни, и лучшая стратегия – это ее не тратить, чтобы сохранять возможность быть кем угодно.

Город начинает цениться за то, что он предоставляет тебе способы оставаться в состоянии выбора. Утром ты теннисист, днем – юрист, ранним вечером – монгольский мистик, вечером – гитарист, по субботам учишься на летчика. В деревне так не поживешь.

Вообще свобода – это сложная вещь, ей надо учиться, там масса подводных камней и парадоксов. Но элементарный уровень свободы, тот, что воспитывается сам собой, просто как жизненный навык, – это свобода выбирать. Свобода как познанная необходимость – это у жрецов и власти. Город торговцев – это такой, в котором ты выбираешь, кем стать, кем быть и во что превратиться потом.

С этой точки зрения смерть, кстати, – это просто покупка небытия, а кладбище – еще один вид среды, по-своему привлекательный в смысле обмена.

Бульвар

Улица, площадь, переулок, двор, парк – это существовало в городах более или менее всегда, с Иерихона и Ура. Бульвар – изобретение новоевропейское, его не было ни в античности, ни в Средние века. Не то чтобы город был такой вещью, в строении которой трудно что-нибудь изобрести – возьмите хоть микрорайоны с панельным жильем, – но трудно изобрести что-нибудь новое так, чтобы оно прижилось. Москву легко представить себе без микрорайонов, но трудно – без бульваров. Появление в городе нового места – это улика, она заставляет подозревать, что в городе появился какой-то новый человек, кому оно предназначено.

Бульвары возникли как побочный продукт гонки вооружений. Развитие артиллерии привело к тому, что земляные бастионы городов утратили смысл. Их засадили деревьями (точнее, перестали рубить те, что там росли, – до того корни деревьев использовались как средство укрепления почвы). Само название «бульвар» происходит от голландского *bolwerk*, «бастион», из-за «большого бастиона» – *grand boulevard* – напротив Бастилии, который в 1670 году первым был превращен в бульвар усилиями Людовика XIV.

Атмосфера Парижа эпохи «Трех мушкетеров» более или менее проясняет замысел короля. Брошенные городские стены и рвы были местом невинных развлечений мушкетеров короля и гвардейцев кардинала, слишком специфическим местом в городе, чтобы и дальше терпеть его наличие. Впрочем, место изменилось, а публика не вполне – в отличие от парков, бывших частной аристократической собственностью, бульвары стали местом демократического приобщения горожан к природе. Некоторый след этого отличия парка от бульвара еще сохраняется в оппозиции высокой поэзии садов и бульварной литературы. Хотя, кажется, уже почти стерся.

Правда, бастионы – это не единственный источник происхождения бульвара. Существовал и другой, аристократический. Мария Медичи, вторая жена Генриха IV, была, если верить Генриху Манну, достаточно меланхолической натурой, не слишком счастливой со своим любвеобильным мужем. Из Флоренции она вывезла любимое развлечение – катание на экипажах по аллее (*corso*) вдоль реки Арно. Так вдоль Сены у Тюильри появилась в 1616 году аллея Королевы (*Cours la Reine*). Нововведение подхватили в Мадриде (Прадо), в Риме (где Корсо приводила к Форуму, вокруг которого было принято кататься, рассматривая руины) и в Лондоне (Пэлл-Мэлл, где деревьев в итоге не осталось).

Но при всем различии в социальном положении родителей бульвара у них было одно общее свойство. Они не были горожанами. Аллея – не городское изобретение, обсаженные кипарисами сельские дороги, так восхищающие нас в Тоскане, отмечали пути к аристократическим поместьям (они создавали приятную тень в итальянский полдень, и сажать кипарисы было обязанностью арендаторов). Бульвары на месте стен и валов обозначали границу города, место, где начинаются поля и леса. И то и другое было вторжением в ткань города посторонней, чуждой ему морфологии – парка.

Это не был парк XIX века с его культом природы и свободы, это был ученый парк классической Европы. Осип Манделштам точно передал то специфическое понимание природы, которое запечатлено в европейских классических парках:

Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде роши.

Это идеальный мир античной поэзии и мифологии, населенный нимфами и сатирами, философами и поэтами, и в этой парковой античности не было ничего банальнее, чем сопоставление колонны и дерева. Парки с их зелеными театрами, полянами – залами, рощами – храмами были подобием римских форумов, живым доказательством важной для классической эстетики мысли о единстве архитектуры и природы. Нас же более всего интересуют колоннады – рощи.

В римской античности был один уникальный градостроительный прием – колонная улица, когда вдоль улицы ставилась на всем ее протяжении мраморная колоннада, а за ней могли быть любые частные фасады. Как правило, сами дома, сделанные из кирпича, не сохранились – оставались только ряды колонн, которые и сегодня поражают нас в римской Африке и Азии, а в XVII веке поражали и в Европе. Аллеи были аналогами этих улиц, и деревья изображали собой колоннады античности.

Разница между бульваром и корсо заключалась в том, что по бульвару гуляли пешком демократические элементы, а по корсо ездили на экипажах аристократические. Великая французская революция перемешала сословия, и так возник французский бульвар. В нем были разделенные полосы движения для экипажей и пешеходов, их порядок мог меняться – как в Москве, где пешеходы движутся по центру, а транспорт по краям (московские бульвары – классические, они возникли на месте городских стен), или как на некоторых бульварах в Париже, где транспорт в центре (это в основе – аллея). Но главное – не порядок, а то, чем они были разделены – деревьями.

Это создало специфический статус бульвара как несколько постороннего городу места. XIX век открыл фигуру фланера – Бальзак, Гоголь, Бодлер, Эдгар По посвятили фланеру специальные очерки. Там есть своя если не феноменология, то мифология, детально исследованная Михаилом Ямпольским в книжке «Наблюдатель. Очерки истории видения». Фланер был чем-то остро новым, явлением, как бы никогда ранее не встречавшимся и требующим легитимации. Шарль де Сент-Бев писал, что фланирование есть «нечто прямо противоположное безделью», Бальзак употребляет формулу «гастрономия для глаза», Бодлер просто воспел фланера. Среди урбанистов принято отдавать внимание этой фигуре, отмечая здесь феномен чисто городского поведения.

При всей развитости этой темы добавлю от себя, что иное, потерявшееся со временем название для этой фигуры, – бульвардье. Теперь оно, кажется, осталось только в названии классического коктейля с глубоким, чуть сладковатым вкусом одиночества. Изначально фланер – это тип наблюдателя, прогуливающегося по бульвару, и новизна его, собственно, не в типе поведения, но в его объекте. Он прогуливается по городу точно так же, как прогуливался по парку, наблюдая лишь не пропорции золотого сечения у растений, как это делал Гёте, не те возвышенные метафоры, которые вдохновляли Мандельштама, а городскую жизнь.

Город, если это старый, средневековый по происхождению город, – жадная до внимания институция, он тебя постоянно рассматривает, предлагает себя, затягивает в двери, лавки, витрины. От него хочется немного отстраниться, я думаю, традиционные маски, вуали или их современный аналог, темные очки, защищают именно от этого легкого неприличия – жадного рассматривания в упор. Бульвар же создает пространственную фигуру остранения: это такая улица, по которой ты идешь внутри и одновременно в стороне от города. Ты рассматриваешь город как будто из парка, из-за деревьев, с высоты той античной традиции колоннад, которая их породила.

Урбанистика много думает о коммунальности горожанина, его принадлежности к сообществам, включенности в рынки социального капитала или здорового коллективизма (кому что нравится). Но город, помимо институтов коммунальности, порождает и институты одиночества, он создает для этого специальные места, пространства рефлексии, поле «иного» в городе. Откуда ты можешь увидеть происходящее со стороны. Конечно, это поздняя кон-

струкция сознания, соответствующая тому беспокойству «отчуждения» человека, которая так волнует классическую европейскую философию. Но мне кажется замечательным, что европейский город создает для этого отчужденного специальную форму пребывания – бульвар.

Это место для человека отчужденного. И то, что оно появляется, свидетельствует о легитимации отчуждения. Чужой – это больше не тот, кого следует изгнать. Это человек в своем праве – праве глядеть со стороны.

Торговцы

Прочитирую Евангелие от Иоанна (Ин. 2:13-17):

Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.

Изгнание торгующих из Храма – таинственный эпизод в Евангелии.

Во-первых, Он не мог изгнать торгующих из храма, потому что там их не было. Он мог отогнать торгующих от Храма, где торговали как минимум с VII века до н. э., с реформ Иосии, когда было запрещено приносить жертвы где-либо кроме Иерусалима и при Храме образовался рынок жертвенных животных. Это был общепринятый религиозный обиход. И тут никто не торговал просто так, тут продавали только животных для жертвы, и менялы тут были постольку, поскольку на этом рынке было запрещено пользоваться обычными деньгами.

Во-вторых, Он здесь не похож сам на себя. Он хлещет бичом, ругается, учиняет погром – так он не действует больше нигде. Юлия Латынина в книге «Христос. Историческое расследование» предположила, что это был первый шаг по захвату Храма (будущими) христианами. И до прихода римских войск из Кесарии Храм оставался в их руках, то есть это начало акции типа «Оккупай».

Конечно, возможно, она ошибается в такой боевой реконструкции событий. Однако удивительно то, что все другие возможные свидетельства немирного характера проповеди Иисуса в Евангелиях отсутствуют. Если они и были, то не выдержали цензуры формирования канонического текста. Этот же момент сохранился во всех четырех Евангелиях, «редакторы» рассказа о Христе сочли его соответствующим духу благой вести. Всех ближних следует возлюбить как самого себя, но торговцев гнать бичом куда подальше.

Этого не могло бы произойти, если бы представление об ущербности торговцев не соответствовало глубинным культурным установлениям. Мы натываемся на привкус чуждости торговцев во всех городских институтах, так или иначе связанных с торговлей – на улице и на городской площади, в универмаге и в лавке.

Торговцы чужие не только по роду занятий и по товару, который они привозят, – это просто чужие люди, с другим языком, культурой и обычаями. Их попросту не впускают в город. Европейские города, возрождающиеся из Темных веков прежде всего за счет развития торговли, при этом не впускают торговцев в город. Эти города делятся на две части, одна – это выживший римский муниципий (*civitas*) или феодальный бург (крепость, *castello*), а другая – это рынок, *vic* (отсюда название торгового квартала в ранних немецких городах, *Wiek*, и отсюда же, по мнению некоторых ученых, имя «викинги»).

В данном случае темная средневековая практика следует возвышенной философии. Платон, описывая идеальный город-государство в «Законах», располагает его в 80 стадиях (16 км) от моря в гористой местности именно для того, чтобы избавиться от тлетворного влияния торговцев.

Это государство может исцелиться и обрести добродетель. Ведь если бы оно было приморским, с прекрасными гаванями и в то же время не производило всего необходимого, но испытывало бы во многом недостаток, то при такой природе ему понадобились бы великий спаситель и божественные законодатели, чтобы воспрепятствовать развитию всевозможных дурных

наклонностей. Однако восемьдесят стадий служат некоторым утешением... Близость моря хотя и дарует каждый день усладу, но на деле это горчайшее соседство. Море наполняет страну стремлением нажиться с помощью крупной и мелкой торговли, вселяет в души лицемерные и лживые привычки, и граждане становятся недоверчивыми и враждебными как друг по отношению к другу, так и к остальным людям.

Причем в данном случае Платон скорее осмыслял сложившуюся практику, чем предлагал что-то новое, – торговые гавани античных городов располагались достаточно далеко от основного поселения, как, например, Пирей в 10 км от Афин.

Напомню начало «Сорочинской ярмарки» у Гоголя:

В небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщит золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешень, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

...дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Это не просто отчасти барочная картина изобилия природы – это картина изобилия природы, стремящегося на ярмарку. Все цветет, произрастает, создается, передвигается для того, чтобы быть проданным и купленным. Правда, рядом немедленно появляется черт.

Несмотря на свою чуждость, торговцы приносят в город много хорошего. Можно даже добавить, что без них город как таковой не может состояться, поскольку в нем есть разделение труда. Существование мелких торговцев допускал даже строгий Платон (хотя, конечно, цены у него должны регулировать правящие философы). Но приносимые блага не отменяют ксенофобского отношения к торговцам.

Чуждость оказывается все-таки центральным качеством, которое мы вынуждены терпеть в обмен на другие блага. Я предлагаю поставить вопрос ровно наоборот. А именно: не является ли чуждость главным благом, главной ценностью, которую привносят торговцы в город?

Я бы связал эту чуждость с темой отчуждения, за которой стоит традиция немецкой классической философии. Напомню, что у Гегеля «отчуждение» – это аналог «объективации», самостоятельного бытия феноменов. Это может касаться вещей, отчужденных от тех, кто их сделал, людей, отчужденных от своих социумов, и идей, отчужденных от тех, кто их высказал (у Фихте), и даже от самого Творца (у Гегеля).

Термин «отчуждение» получил сильнейшую негативную огласовку у Маркса. Маркс полагал, что капитализм создает некую высшую стадию отчуждения, поскольку отчуждает у человека его собственное свойство – способность к труду – и превращает ее в товар. С точки зрения Маркса, грядущий коммунизм позволит преодолеть отчуждение, что осмыслялось им как одна из целей социального развития. Для Маркса и других французских и немецких социалистов процесс распада сельских общин и традиционных городских сообществ переживался несколько драматичнее, чем мы его видим теперь, поскольку происходил только что. Поэтому в социалистической традиции отчуждение трактуется как самоочевидное зло, как будто в общинах все жили исключительно счастливо. Это выглядит мифологично.

Однако интересна степень тотальности категории отчуждения. Советский философ-марксист Эвальд Ильенков, занимавшийся проблемой отчуждения у Гегеля и Маркса, пишет: «Полное „снятие“ всех видов и форм „отчуждения“ возможно лишь на пути построения общества без классов, без государства, без принудительно-правовой регламентации деятельности, без денег и без денежной формы оценки и вознаграждения человеческой деятельности – без полной ликвидации всех этих „отчужденных форм“ человеческой деятельности».

А что же останется, если все это «снять»? Отчуждение является основанием цивилизации как таковой, его снятие аналогично ее уничтожению.

Возможно, сопоставление отчуждения в философском смысле с ценностями торговли кажется натянутым. Однако *Entäußerung* у Гегеля является прямым переводом *alienation* у Адама Смита, а для Смита *alienation* – это выпуск товара на рынок. То есть отчуждение – это не только философская категория. Это повседневный навык, который вырастает до состояния философской категории. Отчуждение – это несущая конструкция городского сознания.

Напомню понимание романа как литературного жанра, которое предложил философ, один из основателей франкфуртской школы Дьердь Лукач. Лукача интересовал вопрос, как связано развитие романа с буржуазными ценностями. Две особенности романа обращают на себя его особое внимание. Во-первых, герой романа в начале повествования – это более или менее никто. Он не представитель сословия, корпорации, семьи, он зачастую – человек в маске, найденыш, иностранец, пришелец, «человек без свойств». Во-вторых, этот герой по мере развития повествования постоянно трансформируется. Он не равен себе, у него меняется структура мотиваций, рисунок поведения, даже облик. Эти черты самым решительным образом отличают его от предшествующих литературных форм. Такой герой не представим ни в мифе, ни в эпосе, ни в трагедии – он непонятно кто и не тождественен себе.

Но именно это «непонятно кто» и позволяет ему действовать. Это отчуждение, позволяющее отрываться от контекста, от социума, от людей, от себя самого.

Кстати, новоевропейский роман начинается с романа плутовского. Излюбленное место действия плутовского романа – это как раз лавки, место, где герой меняет облик, статус, карьеру и откуда начинается очередной цикл приключений. И что не менее характерно, сама фигура плута приходит в роман из театра. Это карнавальная маска.

Мы не совсем отдаем себе отчет в том, насколько принципиально воздействие такой структуры сознания. В свое время в статье «Искусство как прием» Виктор Шкловский ввел термин «остранение». Речь шла о литературном приеме, когда знакомая, обычная, привычная вещь или явление описываются как незнакомое, непривычное, так сказать, отстраненно, отчужденно. Этот прием может быть понят не только в литературном смысле. Напомню идею «очуждения» в театре Бертольда Брехта, которая имеет несколько иной смысл (речь о дистанции между актером и его ролью в авангардном театре), но нацелена туда же – переживание через отчуждение. Кстати, термин *Verfremdung* у Брехта иногда переводится как «отчуждение».

Стоит заметить, что город весь работает как последовательность несоединимых контекстов. Любой бульвар «остраняет» многоквартирный дом, когда ты его видишь сквозь зелень,

любой проспект «остраняет» кварталы, сквозь которые он прорублен, любая вода «остраняет» городскую застройку, которая пробралась к ее краю, чтобы в ней отразиться. Город – соединение не только чужих друг другу людей, но и чужих друг другу контекстов, все они остраняют друг друга. Город как текст – это тотальный монтаж.

Архаические общества не понимают трансформации вещи в товар, в «ничью» вещь. Традиционные сообщества крайне сопротивляются отчуждению человека от семьи и сообщества. Модернизированное общество сегодня озабочено отчуждением идеи ее автора – авторское право, кажется, заменяет право собственности. Но без этих отчуждений не существует горожанина.

Маска, городской театр, роман, в конечном счете человек, освобожденный от принадлежности к обстоятельствам социума и места, – все это результат прививания отчуждения. И это именно то, что дают городу торговцы.

У торговцев в этом смысле нет «своих» ценностей. Они специалисты по чужим. Их роль – в отчуждении, в превращении ценностей в предмет обмена между городскими группами. Торговцы уничтожают традиционный социум, вместо коллективизма предлагают индивидуализм, вместо солидарности – конкуренцию, вместо принадлежности – самовыражение и т. д. Естественно, любое традиционное сообщество или сообщество, стремящееся вернуться к традициям, норовит их изгнать. Они – акторы модернизации города как *civitas*, сообщества горожан. Город – это собрание изначально чужих людей, по определению Вебера. Я бы добавил, город – это собрание изначально чужих людей для обмена между ними.

Заключение

Конкуренция

Любое городское установление может представлять как институт – и тогда это оптика власти, как ритуал – и тогда это оптика жрецов, как *know-how*, и тогда это оптика рабочих, и как сделка, и тогда это оптика купцов.

То есть городские институты, которые я разбирал, – улица, площадь, школа, театр и т. д., – никак не могут быть однозначно приписаны одной группе.

Касты меняются ценностями. Жрецы могут объявить метафизическими ценности торговцев – так возникают либералы. А могут – ценности рабочих, и так возникают коммунисты. А могут – власти, и так возникают тоталитарные идеологии.

В каждой конкретной исторической и пространственной ситуации ценности формируют сложные амальгамы. Их трудно разбить на группы.

Однако если принять, что конкурируют между собой четыре касты – а их мы встречаем на всем протяжении городской истории, – то можно попытаться рассмотреть их как своего рода полюса культурного ландшафта.

За что идет конкуренция?

Человек наделен разумом, и в этом его отличие от всей остальной материи. Это делает его существом противоестественным, что неприемлемо для него самого. Отсюда возникает стратегия вразумления материи. Получения такого места, которое было бы продолжением разумности человека. Город является таким местом.

Для того чтобы получить город, нужно привнести разум в физическое пространство. Суть того, что изложено в этой книжке, заключается в том, что эту проблему можно решить четырьмя разными способами.

Власть предлагает сделать город из наличного материала путем отделения разумных от неразумных, людей от не вполне людей или даже совсем не людей. Между ними нужно установить границы и определить правила перехода. Главными градостроительными инструментами являются стена, ворота и наблюдение. Они дополняют правила организации социума (законы) и санкции за их нарушение.

Этого недостаточно, говорят жрецы. Человеческое пространство должно соответствовать законам мироздания, которое устанавливает высшее сознание. Если мы им соответствуем, тогда мы из существ противоестественных становимся высшей формой естественных. Все естество устроено высшим сознанием, и только мы его понимаем и с ним контактируем. Это удобно. Для этого нужен миф, описывающий высшее сознание, ритуалы контакта и единство социума, знающего миф и ритуалы. Градостроительным инструментом в этом случае является обнаружение сакральных мест, герменевтика сакрального, то есть постоянное поддержание контакта с высшим началом, уточнение протоколов этого контакта и организация города вокруг этих сакральных мест.

Мы не одни на белом свете, посмотрите на наших соседей, говорят купцы. Соседи всегда есть, и пространство у них человеческое. Надо это купить у них, выбрав лучшее из того, что есть на рынке. Это требует свободы, любознательности и навыка оценки со стороны, то есть отчуждения. Кстати, если взглянуть в этой оптике на нас самих, у нас тоже найдется что продать. Если нечего, заработаем на посредничестве.

С точки зрения рабочих, все сказанное несправедливо, архаично и всего не хватает на всех. Вместо царства разума вы строите иерархию, в которой нам нет места. Нужно создать действительно новую вещь, то, чего не существовало. Для этого необходимы инструмент, тех-

нология, труд и ресурсы. Чтобы построить разумные пространства, необходимо создать фабрику по переработке неразумной природы в разумную. Город и должен быть такой фабрикой.

Каждое решение предлагает свою модель человека и города.

Идеальный человек власти – это классический герой. Он учится владеть собой, побеждает хаос и основывает царство. Его проявление – это парад, военная церемония в наставшем после его победы мире. Его идеальный город – это «идеальный город» в узком смысле, город, придуманный в эпоху Ренессанса. Город Филарете и Скамоцци, круг, звезда, квадрат.

Историк Андрей Зубов говорит о том, кто такой пророк. Пророк – это не человек, который говорит о будущем. Это тот, кто говорит с Богом. Идеальный человек жрецов – это и есть пророк. Его проявление – ритуал, в котором он передает людям слова Бога и Богу молитву людей. Он является посредником между людьми и высшим сознанием.

Специфика этого занятия в том, что откровение, с одной стороны, всегда уже было получено раньше, в прошлом, до него, а с другой – получается здесь и сейчас. В момент службы пророк сам становится носителем откровения. Этот парадокс хорошо заметен в феномене авангарда: художник авангарда вовсе не открывает новое, но служит религии новизны. Он повторяет откровения столетней давности, становясь при этом творцом нового. То же происходит и с исполнителем, переживающим себя творцом произведения, созданного композитором за столетия до него. Это переживание тождества иерофании. Пророк всегда переоткрывает Бога.

Его идеальный город – это град небесный, и он отвечает за путь туда. Но не за строительство его на земле, по крайней мере тогда, когда он не вступает в альянс с другими кастами. Если град небесный построен на земле, пророк сам по себе уже не нужен – нужна власть для его поддержания.

Идеальный человек рабочих – это киборг. Он получает инструмент – неважно молот или микрочип – делает его своей частью и обретает сверхспособности. Его проявление – это революция, разрушение существующего зла и строительство нового мира. Его идеальный город – это «город будущего».

Идеальный герой торговцев – это частный человек. Он свободен, толерантен и отчужден. Его проявление – посредничество.

«Нельзя сравнивать свободу воли с чернильницей», – написал русский лингвист Николай Трубецкой, между ними нет ничего общего, нет основания для сравнения. Никаких проблем, ответит купец. Одному нужна свобода воли, другому чернильница, а я выступлю посредником.

У торговцев в принципе нет идеального города, поскольку в их системе ценностей любой город имеет свои достоинства. Впрочем, из традиций идеального города власти в XIX веке выросла идея Экспо, города городов, а из первого здания Всемирной выставки – Хрустального дворца Джозефа Пакстона – рождается тотальное превращение стен в витрины. Так что я думаю, что с известными натяжками идеальным городом торговцев можно считать Экспо.

Время жрецов – прошлое, когда являлся Бог. Время власти – настоящее. Только в настоящем насилием можно вылепить из социальной материи достойный человеческий облик и поддерживать его в приличном виде. Время рабочих – будущее. Там, в будущем, вы увидите продукт пересоздания мира. Время торговцев – часть времени, отрезок. Вместо связи времен они предлагают обмен. Они умеют менять прошлое на будущее, будущее на настоящее, настоящее на прошлое – как угодно. Они умеют отчуждать время и превращать его в товар.

Я думаю, все стратегии создания «земли разумной» равноправны – любая из них приводит к частичному успеху. Но частичному, поскольку при победе одной стратегии всегда остаются три альтернативы. И в каждый конкретный момент можно менять одно решение на другое. При этом каждая из стратегий диктует свою повестку дня для всего социума. За это и идет конкуренция. Победившая каста реформирует под себя ценности конкурентов и выигры-

вает в символическом обмене. Если власть победила, то рабочие строят стены, жрецы воспевают насилие, торговцы импортируют его лучшие образцы.

Я думаю, что город становится городом тогда, когда происходит соединение ценностей как минимум двух каст, а лучше – больше. Когда доминирует одна каста, дело плохо. Именно к таким городам одной касты следует применять понятие «моногород». Они придумывают свои идеальные города, но реальность оказывается иной. Чистый город власти – гарнизон, город жрецов – монастырь, город рабочих – индустриальный моногород, город торговцев – ярмарка, и все они нежизнеспособны. Они или просто гибнут, или живут за счет того, что рядом есть какой-то другой полноценный город, а они – его паразит. Кстати, поэтому я сомневаюсь в возможностях устойчивого развития современных научно-технологических кластеров, наукоградов, как их было принято называть в советское время, – это такой же моногород рабочих, только на другом технологическом уровне, и он неустойчив по природе городов.

Природа эта заключается в симбиозе ценностей разных каст. Современный постиндустриальный город – это соединение рабочих (креативного класса), купцов и жрецов (при существенной репрессии прав власти – отсюда стремление городов, таких как Лондон и Нью-Йорк, выйти за пределы экономических и политических ограничений национальных государств или заменить национальные государства, как Сингапур или Гонконг). Предшественником постиндустриального был индустриальный город, основанный на констелляции ценности власти, рабочих и жрецов при социализме – и власти, купцов и жрецов при капитализме, при этом жрецы в обоих случаях исповедовали религию прогресса. Индустриальному городу предшествует город административный, город военных гарнизонов и бюрократических учреждений абсолютных монархий. Можно было бы сказать, что это чистый город власти, если бы административные города не основывались на старых средневековых субстратах и не включали их ценности. Классический средневековый город, город Вебера, – это опять же соединение купцов, жрецов и рабочих, и именно поэтому, как мне кажется, старые средневековые города оказываются лучшей средой для современной постиндустриальной экономики. Опять же, кстати, права власти тут существенно репрессированы, борьба средневековых городов с королями и императорами – это классический сюжет средневековой истории. Античные полисы иногда сравнивают с городами-республиками средневековой Европы, но это принципиально иное устройство. Весь античный мир – это город нерасторжимого союза власти и жрецов. Античные авторы единодушны в том, что благородный человек не может заниматься торговлей – с такими идеями ни Венеция, ни Брюгге не могли бы осуществиться.

Но что означает это соединение ценностей? Конкуренция прекращается? Мы получаем единую касту «жрецы-торговцы» или «рабочие-купцы»?

Средневековая европейская аристократия верила и в христианские догматы, и в идеалы рыцарства. С утра аристократ отправлялся в церковь и благоговейно выслушивал проповедь. «Суета сует, – возглашал с амвона священник, – и всяческая суета. Богатства, роскошь и почести – опасные искушения. Отвернитесь от них и следуйте по стопам Христа. Подражайте Его кротости, избегайте неумеренности и насилия, а если вас ударят – подставьте другую щеку». Вернувшись домой в тихой задумчивости, вассал облачался в бархат и шелка и спешил на пир в замок своего господина. Там рекой лилось вино, менестрели воспевали любовь Ланселота и Гвиневры, гости обменивались сальными шутками и изобилующими кровавыми подробностями военными историями. «Лучше умереть, чем жить в позоре! – восклицали бароны. – Когда задета честь, смыть оскорбление может только кровь».

Это цитата из Юваля Харари, и сам по себе образ тривиален и снижен. Важнее то, что Харари выводит из этого противоречия понятие «когнитивного диссонанса» цивилизации. Одна группа ценностей не может победить другую, она существует только вместе с ней. Когнитивный диссонанс – это такое противоречие в ценностях, которое не может быть снято, но сами попытки его снять составляют движущую силу каждой ситуации.

Но это же результат соединения разных каст! Христианские жрецы, проповедующие религию всеобщей любви, соединились с властью. И именно это соединение позволяет более или менее полно включать в себя всю повестку дня данной культурной констелляции.

Специфика ценностной ситуации современной России, скажу напоследок, заключается в том, что она хочет встать на равных в один ряд со странами первого мира, то есть достичь максимального сближения с ними, и для этого хочет вернуться к СССР, равному им как протагонист, то есть достичь максимального от них отдаления. Это движение назад с целью попасть вперед, максимальное тождество через максимальное растождествление составляет миф Владимира Путина, который позволяет ему объединять вокруг себя людей противоположных устремлений. Это классический когнитивный диссонанс. Он определяется альянсом власти – ценностей ушедшей бюрократической империи – и жрецов экономической эффективности. Последняя, на мой взгляд, может классифицироваться как ересь большой религии либерализма.

Жители

Как-то я придумал некую программу развития спальных районов, как мне казалось, более или менее остроумную. Но при обсуждениях выяснилось, что она никуда не годится. Не из-за того, что конкретные меры, из которых она состоит, недействительны, а из-за проблем в базовой оценке. Мне казалось очевидным, что спальные районы – с типовыми домами, без центра, без улиц, без главной улицы и улицы-бульвара, без торговли, кафе, ресторанов в первых этажах, без офисов, гостиниц, без музеев, театров, галерей, без какой-либо идентичности и т. д. – это ужас что такое. Хотелось, как это иногда бывает с урбанистами, как-то вывести людей из ада и построить уж наконец град на холме. Но на фокус-группах выяснилось, что жители этих районов совершенно не так воспринимают окружающий мир и условия своей жизни.

Им нравятся их районы. Многоэтажные современные дома с их квартирами, которые их главное достояние. Дворы с их любимыми машинами, которыми они гордятся, и песочницами с их любимыми детьми, ради которых они живут, школа, в которой они учились и дети тоже будут. А еще есть музыкальная школа, а еще недалеко парк, и там может быть пруд или даже речка. Из усовершенствований они хотели бы только побольше зелени.

Ничто так не расстраивает урбанистов, как результаты фокус-групп, тем более когда ты можешь слушать и смотреть из-за стекла, но сказать ничего не можешь.

Город, хотелось им сказать, – это же свобода выбора. Сотни возможностей что-то купить, что-то узнать, как-то провести время, выбрать цель, кем-то стать или не становиться никем, меняя время своей жизни на возможность сыграть разные роли. А у вас какая свобода? Сходить в химчистку? В продмаг?

Город – это пространство истории, ощущение, что люди здесь жили тысячу лет, а теперь твоя очередь. А у вас какая история? Были пятиэтажки, так и их сносят.

Город – это когда все время появляется что-то новое: кто-то что-то увидел, узнал, выдумал, создал. И ты участник этого социального турнира, и тебя это заводит. А у вас время стоит. Вот центр Москвы полностью поменялся, это другой город по сравнению с тем, в котором умер СССР. А спальные районы ровно те же, что были при Брежнев.

Но люди-то этим счастливы.

Город можно изучать исторически, и тогда перед нами – конкуренция людей за право сохраниться в истории. Можно экономически, и тогда это конкуренция капиталов, ресурсов и бизнес-процессов. Можно – с точки зрения культуры, и тогда это конкуренция ценностей. Можно – социально, и тогда это конкуренция сообществ.

Но только люди не очень конкурируют, а больше просто живут.

Идею социального изучения города подарила нам чикагская социологическая школа примерно сто лет назад. Великий урбанист Роберт Эзра Парк рассматривал город по аналогии с расселением вида животных. Правда, он не включил в свою модель механизм эволюции Дарвина – внутри- и межвидовую конкуренцию. Он сосредоточился на приспособлении к условиям существования.

Городской район тут получается чем-то вроде биоценоза. Сообщество приспосабливается к месту, в котором живет, – это называется специализацией. Оно мигрирует в зависимости от внешнего давления, расширяется или сжимается, воспроизводится с тем или иным успехом (исследованием чего чикагская школа с успехом и занималась). У него есть свои ценности, иногда – сленг, мода, общественные пространства. С жизнью города в целом они, конечно, связаны, но опосредованно.

Сообщества – это такие племена городской цивилизации. Они воспринимают саму эту цивилизацию как внешнее условие своего существования – наряду с климатом, ресурсами и т. д. Но они не думают, что участвуют в ее изменении. А может, даже и не участвуют.

Урбанистическая социология – очень продуктивный подход к исследованию городов, в особенности – недавно основанных, в которых процесс адаптации к внешним условиям очень заметен, а влияние истории – нет. Вот в Чикаго в 1840 году было 5 тысяч жителей, а в 1930-м – 3,5 миллиона, и иммигранты появлялись этническими волнами. Понятно, что они образовывали сообщества, жили своей жизнью, а жизнь города в целом была более или менее внешней средой. Другое дело настоящие исторические города – с длинной историей.

Совершенно это не другое дело. Ровно то же самое.

В последние полвека под влиянием школы «Анналов» вошла в моду «история повседневности». Книжки на эту тему пишутся сотнями. Изучена повседневность парижских нотариусов, студентов Сорбонны, мясников, ювелиров, модисток, немецких рабочих от Бисмарка до Гитлера, французской богемы вообще и импрессионистов и кубистов в частности, московских воров, русской интеллигенции, римского плебса, детей Арбата, чиновников Петербурга и т. д. Достаточно часто селились они более или менее кучно, поэтому у них возникали институты, которые сегодняшней город утратил, скажем, приходская церковь, или трактир, или кафе, или рынок. У них были свои святые покровители, выраженные культурные коды поведения, свои, так сказать, лидеры общественного мнения, своя повестка дня. Это все пленительно интересно.

Но сопоставить их с большой историей города трудно. Нет ниточек, позволяющих связать жизнь студентов или нотариусов с эпохой готики и схоластики, портные и модистки живут так, будто ни фронды, ни революции, ни реставрации не было или они совершались где-то в другом месте. Когда же Сталин или Гитлер, Мазарини или Рамбюто, Ирод или Агриппа начинают вмешиваться в повседневную жизнь, то для любых сообществ это первостатейная беда и гибель.

В этих очерках я описывал городскую жизнь как диалог четырех групп – власти, жрецов, бизнеса и рабочих. Они конкурируют между собой за повестку дня, за ценности, за доминирование, они блокируются друг с другом и расторгают союзы. Эта конкуренция и создает историю, иногда – и прогресс. Но в городе есть люди, которые не связаны ни с одной из этих групп, которым равно чужды их устремления и идеалы. Они просто здесь живут.

Кстати, они совершенно не обязательно живут на периферии спальных районов – просто так чаще всего бывает в сегодняшних российских городах. А так – возьмите Замоскворечье XIX века, царство Островского. Или Остоженку 1950-х, когда все пространство от улицы Метростроевской (как тогда она называлась) до набережной реки было назначено под снос для строительства величественного проспекта от Дворца Советов до Университета. Между спальными районами и заснувшими территориями разница невелика.

В городе действуют политика, экономика, культура, есть повестка дня. В сообществе это тоже может быть, но свое. А может и не быть. Так или иначе, общегородские процессы воспринимаются здесь как вести извне. Люди пользуются городом как территорией с определенными характеристиками: это такая земля, где есть метро, канализация, электричество, сети социального обслуживания. Но они не участвуют ни в городе как истории, ни в городе как месте производства будущего.

Город это расстраивает. Никакому правителю и никакому правительству не приятно, если люди живут на его земле, но своей жизнью. Отсюда идеи создания субцентров на периферии, идеи точечной застройки, развития застроенных территорий, реновации, реконструкции транспортной сети – любых мер по вовлечению этих мест в общегородскую повестку дня. Прямо скажем, довольно спорных и конфликтных.

Это «просто жители», обыватели в старом, необидном смысле слова. Они здесь живут. Это Мазарини и Рамбюто приходят и уходят, а обыватели – это и есть горожане, да нет, это и есть город в смысле *civitas*. Они здесь всегда были.

Но ведь так просто не может быть. Что, жители Беляева или Зюзина – это потомки крестьян деревень Беляево и Зюзино? Результат их немислимой плодовитости? Но это же совсем не так, это чужие этим местам люди. Точно так же не было в средневековом Париже изначально

поселившегося здесь племени нотариусов, студентов или ткачей – они все чужие. Они сюда пришли.

И когда они пришли, они очень активно участвовали в городской жизни. Но со временем они установили стабильный, минимально необходимый для жизни уровень обмена с остальным городом. И обособились.

Они рождены историей, но выпали из нее. Те же спальные районы – это след Москвы как индустриального города, когда в нем было пять миллионов рабочих, миллион военных и три миллиона служащих, и они и были его жизнью. А теперь они выпали из нее и в рамках рентной экономики достигли того уровня благосостояния, комфорта и разнообразия жизни, который их устраивает. И могут просто жить. С исторической точки зрения это постиндустриальные племена, расселившиеся на городской территории после остановки социалистического индустриального развития. Шесть лет назад по анализу данных сотовых операторов Алексей Новиков установил, что 60 % жителей спальных районов вообще не выезжают из них в течение недели. Может сегодня эта пропорция изменилась, но, боюсь, как бы не в сторону увеличения.

Каждый конкретный человек, разумеется, ниоткуда не выпал, вернее самостоятельно решает, выпадать или нет. Достаточно выехать из спального района, и ты окажешься посередине потоков городского обмена. Но если говорить именно о культуре поселения, в котором ты находишься, – то да, это место по сути не городское. Спальная жизнь, где время не меняется и ничего не происходит. Чего ездить-то куда-то, когда здесь все хорошо.

Люди имеют право выйти из конкуренции и выйти из истории. Больше того, именно их право на спокойствие, неучастие и отсутствие изменений, как правило, и отстаивают все оппозиционные городские политики, в том числе и левые урбанисты. Разница только в том, что традиционные защитники прав граждан в городе отстаивают право на неучастие в пределах жилища, а урбанисты предпочли бы наблюдение за неизменностью в общественном месте в гамаке из экологических материалов и с бесплатным *Wi-Fi*.

Проблема в том, что выпавшие из истории городские сообщества знают только один способ развития – деградацию. Ослабляются социальные связи, люди выпадают из системы социальных координат, теряются признанные модели поведения, авторитеты, ценностные характеристики. Насколько я понимаю, в истории мы не знаем ни одного городского сообщества, которое бы прогрессировало, – даже этнические и религиозные в конце концов теряют свою устойчивость и идентичность. Тот же Роберт Парк начал изучение городских сообществ с анализа антиповедения в городе, которое он напрямую и убедительно связал с распадом сообществ. Территориальное сообщество выпавших из развития людей рано или поздно превращается в гетто. Они всегда деградируют, и это можно только сдерживать, и только поддержкой извне.

Переулок

Вступая в переулки, мы оказываемся в области таинственного. Автомобильные навигаторы не прокладывают через них маршруты и поскорей норовят вывести на магистраль. Мой сын как-то объяснил мне, что их не удастся просчитать – это значит, что хотя переулков не так уж много, но они несчетны, иррациональны. И улица-то редко бывает произведением с четким замыслом, но может таким быть. А вот переулок – никогда. Непонятно, почему он такой и какой в этом смысл.

В словаре Даля такое определение переулка: «ПЕРЕУЛОК, м. – поперечная улка; короткая улица, для связи улиц продольных. Он ходит улками да переулками, крадучись. Глухой переулок, заулоч, тупик, из коего нет выхода». «Поперечная улка» предполагает наличие улиц продольных, которым она перечит. Что это за продольные улицы, вдоль каких долей они идут, неясно.

Переулок в Москве – тема поэтическая, и это поэзия с устойчивым набором мотивов. Место это, во-первых, чужое: бывает родной дом, родная улица, а родной переулок – это как-то нет. Во-вторых, переулок – это утрата, потеря, место оставленное, следы какой-то прошедшей жизни. Переулок – выпадение из времени не то чтобы прямо в смерть, но в некое никуда. Место небезопасное, одинокое, магическое. Ахматова в стихотворении «Третий Зачатьевский», кажется, собрала все обертоны московского переулка:

Переулочек, переул...
Горло петелькой затянул.
Тянет свежесть с Москва-реки,
В окнах теплятся огоньки.
Как по левой руке – пустырь,
А по правой руке – монастырь,
А напротив – высокий клен
Ночью слушает долгий сон.
Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь...
Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок.
Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

В каждом старом европейском городе есть переулки. Больше двух третей этих городов возникли на месте римских военных лагерей. Поскольку строительство лагеря было частью военного дела, схема лагеря рационализирована до простоты военного устава. В ней есть две главные улицы – *cardo* и *decumanus*, есть главная площадь на их пересечении, есть прямоугольная сетка улиц вспомогательных. Но никаких переулков нет. Переулки самозародились на прямоугольной сетке иррациональным способом.

Сравнение разных по времени планов европейского города чем-то похоже на рассмотрение жизни растворов на разграфленном прижимном стеклышке микроскопа. Что-то вроде опытов Ионатана Леверкюна из вступления к «Доктору Фаустусу» Томаса Манна. Вот перед нами разграфленная чистая сетка римского лагеря. Вот постепенно на римском плане города *Urbs vetus* ветшает форум, осыпается храм, и через аккуратный квадратик, который он благообразно занимал собой в сетке, вдруг появляется первая тропинка наискосок. Постепенно она перебирается в соседний квартал, потом в следующий, чтобы протоптаться через кварталы до

рыночной площади у ворот. Вот на улице появилась – после нашествий, разрушений, мора – какая-то варварская жизнь. Семья (а это может быть человек сорок) заняла один дом, потом другой, потом – дом на соседней стороне улицы. Улицу они перекрыли, ее вымощенная часть стала внутренним двором их владения, а путь теперь огибает его по идущей по задкам владения немощеной тропинке внутри квартала. Вот рядом поселилась другая семья, родственная. Вот улица исчезла – вместо нее возник переулок. Вот на плане *Urbs vetus* уже виден сегодняшней Орвието.

На востоке то же происходило даже живей, как будто здесь мы видим не сдержанную поросль травы на камнях, а сразу большие охапки кустов. Улицы Дамаска, Кайруана, Иерусалима ведут себя не как европейские, они в свободных отношениях с домами. Дом может перепрыгивать через улицу аркой, на которой располагается жилой этаж, улица может оказаться внутри двора и остановиться. Дублирующего, пусть кривого, прохода никто не создает, улица перекрыта – и все. Впрочем, она может убежать на крышу. В Иерусалиме по крышам вы можете пройти от Стены Плача почти до храма Гроба Господня, это такой специальный аттракцион – и, по сути, накрышный переулок. Но совершенно обычно и если переулок оканчивается тупиком – это значит, что эта часть улицы находится в совместной собственности соседей. С точки зрения идеи римского лагеря тупиковый переулок – это нонсенс, это лагерь внутри лагеря. В сущности, так оно и есть.

В урбанистике едва ли не с момента нового рождения дисциплины в 1960-х главная тема – городские сообщества. В идеале считается, что каждый горожанин принадлежит какому-то сообществу. В реальности города, в особенности большого, сообществ не так много, как хотелось бы урбанистам, а уж территориальных, соседских сообществ совсем не видно.

Но в старых, средневековых городах такие территориальные сообщества были. Это могли быть большие семьи, роды, как в раннем Средневековье, которое я описал. Позднее это были цеха, сообщества ремесленников, селившихся рядом. У них были свои территории, слободы, «доли» в городе, и по границам шли продольные улицы, а внутри были переулки. И это были не столько частные, сколько не вполне общегородские пространства. На ночь они перекрывались рогатками, а иногда даже имели ворота. Внутри этих долей и шли переулки.

В Москве, где переулки есть, породивших их людей не осталось. Все эти молочники, денежники, лучники, серебряники, прихожане церкви Спаса на Песках, Власия, Афанасия и т. д. – их всех вывели. Но от них осталось чувство бывшей жизни. Чувство племени, которое жило в городе, как в деревне, у себя, где все друг друга знали и проводили досуг, наблюдая, кто прошел мимо окна. Вымороченность и таинственность, чуждость и странная притягательность, чувство утраты и выпадение из времени. Магия места – след его верований и ценностей, может быть, и не высказанных, но сохраненных городской морфологией. Поэтика переулка есть след исчезнувшего сообщества.

Я не слишком разделяю любовь урбанизма к сообществам. Мне кажется, главное достоинство мегаполиса заключается в возможности жить не опознаваемым окружающими. В возможности жить одному, сохраняя известную дистанцию в отношении людей, не расширяя круг знакомств и не без удовольствия прекращая оказавшиеся неудачными. Большой город как социальное устройство хорош тем, что предлагает цивилизованные правила мизантропии – в деревне эта отстраненная вежливость непринадлежности недоступна.

Но, с другой стороны, возможность пройти по касательной чужой жизни – одно из богатств города, удовлетворяющая естественное чувство человеческого любопытства. Эту возможность и предоставляет переулок. Здесь ничего не продают, здесь нет кафе и ресторанов, здесь ты никому не нужен и тебе не нужен никто – ты просто чувствуешь присутствие чужой жизни. Отчасти это родственно прогулкам по лесу из любопытства – и кстати, это приятнее делать осенью, когда птицы уже улетели и не так галдят.

Ты даже можешь начать мечтать о том, как было бы хорошо жить вот в таком переулке и чтобы вокруг жили твои друзья, знакомые, и вместе это было бы интересно и наполнено смыслом. Вероятно, это атавистическое стремление к стадности. Но интересно, удастся ли кому-нибудь в будущем опять создать переулок.

Переулок ведь возникает тогда, когда из города уходит власть, жрецы, торговцы и рабочие. Люди начинают жить сами по себе. Просто люди. Просто жители.